

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ СВЕТА

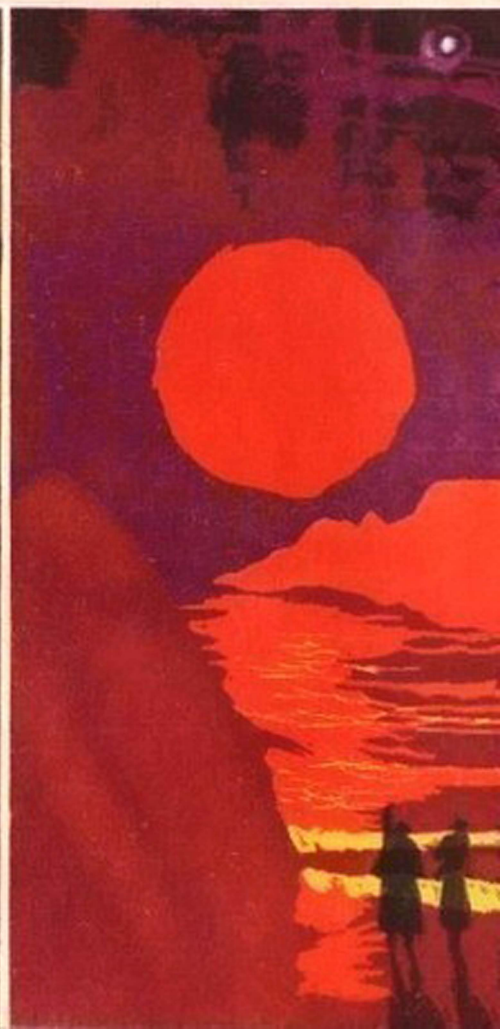
И

СКАТЕЛЬ

1

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ

1972





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ
ВОКРУГ  СВЕТА

Искатель

1

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1972

СОДЕРЖАНИЕ

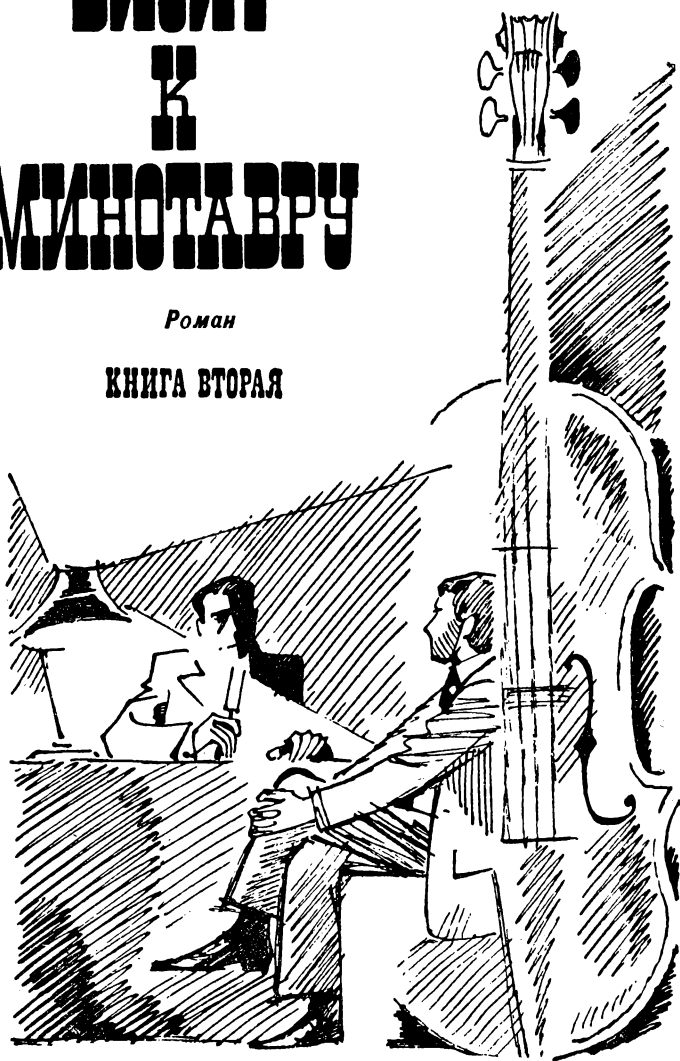
Аркадий ВАЙНЕР, Георгий ВАЙНЕР — Визит к Минотавру	2
Ричард ГЕЙМЕН — Машина	112
Морис РЕНАР — Туманный день	136

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

ВИЗИТ К МИНОТАВРУ

Роман

КНИГА ВТОРАЯ



ГЛАВА 1. ЧУЧЕЛО МИНОТАВРА

Будущее скрыто от глаз человека. Поэтому ошибки, возможные в будущем, всегда накрепко связаны с прошлым. То, что вчера было только планом, лишь сегодня превратится в поступок, а завтра мы сможем оценить его как ошибку. Но завтра наш поступок уже полностью отойдет в прошлое, и оценка ошибки становится мерой отношения к прошедшему. И потому ошибки становятся необратимыми. Прошлое не возвращается, унося в себе тяжелую дань наших потерь. Пытаться исправить ошибку глупо, за ошибки надо расплачиваться. И платой является необходимость начинать все сначала.

Об этом горестно думал Антонио Страдивари, слушая рассказ Луиджи Пиччони. Сегодня тот вернулся из Ливорно, где встретил в порту старшего сына Страдивари, неделю назад убежавшего из дому. Паоло Страдивари сказал Луиджи, что нанялся матросом на корабль, уходящий в Бразилию. Отцу поклона не передал и пообещал вернуться из Бразилии богачом — из Америки ведь все возвращаются крезами...

Так в чем ошибка? Учил, воспитывал неправильно? Или, может быть, сын имеет право сделать выбор сам — стать продолжателем дела отца или начать жизнь морского авантюриста? Да, в доме никому и в голову не приходило, что Паоло может заниматься чем-то другим, нежели строительством скрипок. В двенадцать лет отец вложил в его руки деревянный циркуль и маленький фуганок, и с тех пор изо дня в день, кроме первого дня пасхи и рождества, они стояли вместе у верстака. Потом встал рядом и Джузеппе. Потом верстак пришлось удлинить — понадобилось место для Франческо. Месяц назад

В квартире выдающегося советского скрипача Льва Осиповича Полякова совершена крупная кража. Среди похищенных вещей — бесценная скрипка работы знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари. Оперативная группа МУРа обнаружила на месте преступления орудие взломщика — фомка затерялась в складке кресла между сиденьем и спинкой, и вор, действовавший в темноте, не смог ее отыскать. В прихожей квартиры, кроме того, на полу был найден троллейбусный билет...

Такова завязка первой книги романа Аркадия и Георгия Вайнеров «Визит к Минотавру». Дело об ограблении квартиры народного артиста СССР ведет старший инспектор уголовного розыска капитан Тихонов.

Возникает подозрение, что к краже причастен один из соседей — Обольников — хулиган, дебошир и пьяница. Поляковы изредка оставляли ключи от своей квартиры его жене, которая помогала им по хозяйству. На бокале в ограбленной квартире обнаружены отпечатки пальцев Обольникова; но установлено, что в самый момент кражи он был в больнице. Возможно, Обольников послужил лишь наводчиком для настоящего преступника, «показав» ему квартиру Полякова с помощью ключей, взятых у жены за несколько дней до ограбления?.. Однако выясняется,

¹ Журнальный вариант. Первая книга романа опубликована в «Искателе» № 6 за 1971 год.

занял свое место в мастерской Омобоно — ему исполнилось уже десять лет.

В доме вырос предатель. Если бы Паоло сказал отцу, что не хочет придумывать скрипки, неинтересны ему неразгаданные секреты лака, и наплевать, как прорезать эфы, чтобы получить наиболее полный, сочный звук, потому что он хочет быть бочаром, каменотесом, художником, гончаром или землепашцем, то при всей тяжести удара Страдивари примирился бы с этим. Но бросить то, что с такой мукой изыскивал отец и вручил ему в руки, ради призрачного блеска легких денег, чужих денег, которые можно быстро и просто добыть — этого понять, простить и принять Страдивари не мог.

Он сидел в тягостном оцепенении и думал о том, что, видимо, пришла пора испытаний. До сих пор он был удивительно, небывало счастлив, ибо все, о чем может мечтать человек, он имел. Он был здоров, силен, имел четырех сыновей, очень богат, а имя Страдивари известно во всей Европе.

Ребята росли крепкими, ловкими и смывленными. Часто, сидя во главе длинного обеденного стола, Антонио прикидывал, а сердце при этом сладостно замирало: слава дома Амати вошла в зенит в третьем поколении и увенчалась искусством Никколо Амати — внука. Если его судьба уподобится судьбе Андреа Амати, то род Страдивари останется в веках. Спohватившись, он торопливо крестился, отгоняя эти сладкие и пугающие мысли.

И вот первый удар судьбы грянул. Страдивари встал и тяжело прошелся по мастерской. Трое ребят с испугом и непониманием смотрели на враз постаревшего отца. Сплетник Пиччо-ни набил трубочку, раскурил и тоже с любопытством уставился на Антонио: что-то теперь скажет этот гордец?

Страдивари стоял посреди мастерской, сложив руки на груди, раскачиваясь с пятки на мысок. Потом не спеша, хриплым голосом проговорил:

что Обольников забрел ночью в квартиру народного артиста лишь для того, чтобы... выпить, к совершенной краже он непричастен.

В ходе следствия инспектор Тихонов сталкивается с некоторыми людьми, знакомыми Л. О. Полякова — Григорием Петровичем Белашом, настройщиком музыкальных инструментов филармонии, и Павлом Петровичем Иконниковым. Иконников в прошлом — талантливый скрипач, но опустившийся ныне человек, враждебно относящийся к Полякову. Письмо, пришедшее в МУР, сообщает, что кто-то видел его в ночь ограбления выходящим из дома народного артиста. Письмо анонимно, но о возможной причастности Иконникова к преступлению свидетельствует и более существенное обстоятельство. В квартире Полякова за несколько дней до ограбления испортился замок (позже экспертиза установила, что он был кем-то намеренно испорчен снаружи). Человек, назвавшийся слесарем из ЖЭКа, починил замок, и народный артист на всякий случай записал телефон слесаря. Оказалось, что телефон с этим номером установлен в квартире близкой приятельницы Иконникова Раисы Никоновны Филоновой...

— Младший сын Андреа Амати, дядя моего учителя Никколо — Антонио Амати повесился в мастерской, когда ему исполнилось двадцать три года. Но дом Амати от этого не рухнул. И дом Страдивари перенесет потерю сына...

— Даст бог, вернется еще, — сказал благодушно Пиччони.

— Нет, сюда он не вернется, — твердо сказал Страдивари. — Ты, Джузеппе, иди к канонику и закажи заупокойную службу по сыну моему почившему Паоло...

— Да что вы говорите такое, синьор Антонио! — воскликнул Пиччони.

— То, что вы слышали. У Антонио Страдивари не может быть сына — бродяги и вора.

— Почему же вы думаете, что он обязательно станет вором?

— Потому что легко богатеют люди только воровством и обманом. Итак, с этим покончено. Простите меня, сосед, но мы и так потратили много времени, нам надо работать. Джузеппе, вернись от попа, начинай шлифовать деки для этого альта. Ты, Франческо, расширь эфы на два волоска. Омобоно, сынок, смотри, нож фуганка должен идти ровненько вдоль волокон дерева. Видишь, тогда не получается заусенцев... Давайте, ребята, время не ждет...

* * *

Комиссар отбивался по телефону:

— Да, я очень ценю и уважаю наших розыскных собак... Конечно... Но я не председатель Моссовета... А в исполком с ходатайством об отводе участка вошли... Ага — очень остроумный совет... Вот слушай, Кузнецов, у меня тридцать шесть офицеров на очереди за жильем, так что я сначала на этот вопрос употребляю свое влияние... А собачки подождут немного... Ну давай, привет...

Комиссар положил трубку и спросил меня:

— Так сколько их, по-твоему, было?

Вскоре после ограбления обнаруживается одна из похищенных вещей. Двое подростков принесли в радиомастерскую на станции Немчиновка магнитофон, принадлежавший Полякову. Как показали ребята, магнитофон был продан им каким-то пожилым человеком в вагоне электрички, следующей до Одинцова.

Следствие усложняется, когда гибнет Павел Петрович Иконников. Но спустя несколько часов инспектор Тихонов получает письмо, написанное Иконниковым перед смертью. В письме — признание того, что Павел Петрович виновен в преступлении лишь косвенно: кто-то пользовался им «как щитом». Мучительные переживания, раскаяние привели Иконникова к самоубийству.

В результате напряженной работы по сопоставлению отдельных разрозненных фактов (места продажи магнитофона, троллейбусной остановки, на которой, вероятно всего, был оторван билет, найденный в квартире Полякова, некоторых обстоятельств старых «дел» о кражах со взломом) в Одинцове выявлен настоящий преступник — некто Мельник. В его доме обнаружены вещи, похищенные у народного артиста СССР. Не найдена только бесценная скрипка работы Антонио Страдивари...

— Не меньше двух — наверняка.

Комиссар почесал щеку тупым концом карандаша, задумчиво, будто вспоминая, сказал:

— Помнится мне, кто-то когда-то голову давал наотрез, что там побывал один человек.

Я принужденно улыбнулся:

— Что делать — я задним умом крепок. Как говорит про меня Лаврова — ле спри де эскайе.

— Это что? — с интересом посмотрел на меня комиссар.

— По-французски значит: «лестничный ум».

— А! Ну да, эскалатор — лестница! — сообразил комиссар. — А она что — только говорит или думает так же?

— Трудно сказать. Наверное, думает.

— Это плохо. Подчиненные должны уважать начальство — тяготы служебные кажутся много легче.

— Точно! — радостно заухмылялся я. — По себе я это давно заметил.

Комиссар сказал:

— Так что ты своим эскалаторным умом надумал?

— О том, что Мельник провернул такую акцию один — и говорить нечего. Скорее всего его использовали как инструмент...

— Это в части организации преступления. А в реализации его? В самом факте кражи сколько человек участвовало? Ведь очистить квартиру Мельник мог и один.

— Не думаю, чтобы он в квартире был один. Во-первых, из трех скрипок в доме вор безо всяких сомнений взял самую ценную. Во-вторых, отпечаток ноги Мельнику не принадлежит — ботиночек аккуратный, сороковой размер.

Комиссар побарабанил толстыми короткими пальцами по столу, пригладил белесые прямые волосы, посмотрел своим хитрым зеленым глазом на меня вприщур:

— А я допускаю, что Мельник вообще не притрагивался к скрипке.

— А как же?

— Не знаю, — пожал плечами комиссар. — Допускаю, что те, кому нужна была скрипка, оставили ему, как всякому наемнику, взятый город на разграбление.

Зазвонил телефон. Комиссар снял трубку:

— Слушаю. Ну? У меня. А что такое? А-а, это всегда надо приветствовать. Доставьте его прямо ко мне.

Комиссар положил трубку и, подняв палец, значительно сказал:

— Арестованный Мельник просится на допрос. Но с тобой, видишь, не захотел разговаривать, а изъявил пожелание дать показания главному генералу в МУРе. Удовлетворим просьбу?

— Обязательно.

Комиссар надел очки, весело взглянул на меня:

— Вот видишь, Тихонов, как хорошо быть генералом!

— Я думаю...

— То-то! Ты сколько пыхтел, пока жука этого изловил? А вся слава от его признания мне достанется.

Я махнул рукой:

— Это мы еще посмотрим...

— Чего смотреть-то?

— А чего он скажет?..

Мельник остановился посреди огромного кабинета: настороженно закинута голова, руки за спиной — прямо стрелецкий воевода перед казнью. Сердито повел клочкастыми бровями, посмотрел на меня мельком, перевел взгляд на тускло высвечивающие серебром погоны комиссара, снова глянул на меня, недовольно сказал:

— А он здесь зачем? Я ведь сказал, что только главному буду давать показания!

Комиссар вышел ему навстречу из-за стола, сделал несколько мелких катящихся шажков и замер в испуге:

— Степан Андреевич, никак я вас прогневал? Недовольны вы, что пустил я на допрос инспектора Тихонова? Может, прогоним его? Мне же беседа с вами куда как дороже!

— Я свое слово сказал! — отрубил Мельник.

Комиссар обернулся ко мне:

— Слышал, Тихонов, золотое слово? Прямо ума не приложу, что мне и делать теперь. Ведь не будет, я думаю, говорить со мной Мельник. Ах, жалость-то какая! Может, такое счастье раз в жизни человеку выпадает, а ты мне, Тихонов, все испортил. Он у тебя где, в КПЗ содержится?

Я кивнул. Комиссар горестно развел руками, торопливо вернулся за стол, тяжело вздохнув, сказал:

— Значится, так: переведи его в тюрьму, то бишь следственный изолятор. Это раз. Теперь два — подготовь материалы для предъявления ему также обвинения в краже государственного имущества в особо крупных размерах. Сколько там по девяносто третьей статье по «приме» полагается, запомнял я?

— От восьми лет до расстрела.

— Прекрасный диапазон, — одобрил комиссар. — И третье. Затребуй все дела — Калаганина, Фомки Крысы, Финогея, Сявки Сидоренко, ну, короче, всех по списку, где проходил инструмент нашего уголовного фабриканта. Привлекать мы тебя, Степан Андреевич, и по этим всем делам будем, — ласково заверил комиссар. — Чистое соучастие в стадии приготовления преступления. А засим, как говорится, не смею задерживать, конвой вас ждет в приемной.

Мельник не ожидал такого поворота. Он как-то весь съежился, усох, ростом стал меньше, к выходу пошел, тяжело двигая враз зачугуневшими ногами. У дверей остановился, оглянулся на комиссара, сказал сердито:

— Я думал, у нас душевный разговор получится...

Комиссар по-кошачьи легко, неслышным, плывущим шагом пересек кабинет, и, как в волшебстве кинематографа, вдруг исчез его животик, стали незаметными все лампы, колодки, погоны, исчезла благообразная генеральская важность — он летел через коробку кабинета, как пущенный из рогатки литой камень. И это был вновь молодой, прославленный своей удивительной лихостью и бесстрашием оперативник, который четверть века назад внедрил в наводившую на всех ужас банду «Черная кошка» и переловил бандитов всех до одного. Чудо перевоплощения свершилось на глазах, будто комиссар сбросил с себя, как ненужный комбинезон, всю свою вальяжную внешность и

оттуда, из этого — парадного — комбинезона выскочил сухой, жилистый, черный от злости человек.

— А почему у нас с тобой должен был получиться душевный разговор? — тихо спросил комиссар, и от этого тихого голоса, почти шепота, Мельник вздрогнул.

Честное слово, от неожиданности я сам испугался! Комиссар подошел к Мельнику вплотную, но все равно было как-то незаметно, что вор выше его на целую голову. Комиссар смотрел ему в подбородок, не задирая головы, и Мельник против воли стал клониться, его как-то судорожно изгибало — так старался он поймать взгляд комиссара.

— Ты что думал? — так же тихо, без выражения сказал комиссар. — Стоит тебе согласиться, так я здесь чай с пирогами накрою, сядем в обнимку и поговорим про жизнь твою, мною загубленную? Да? Вот на-ка, выкуси! Ты вор, старый уголовник, ты мне, Тихонову, ты всему нашему народу поперек горла стоишь! Ты украл скрипку, которую гений в слезах и поту выстрадал! И играл на ней гений, счастье людям каждым мгновением дарил, а ты обокрал весь народ — и теперь ко мне явился, снизошел до дружеской душевной беседы. Ты что думал, что я, советский генерал, буду пожимать лапы твои поганые, унижаться перед тобой, к тебе в настроение подлаживаться — сделай милость, Мельник, расскажи мне, по дружбе нашей возникшей, как ты скрипочку упер? Не дожدهшься! Ишь добродей нашелся! Ты что-то не пришел ко мне с душевной беседой, когда мы тебя искали. А когда Тихонов, как кот нагадившего, из-под шкафа тебя за шиворот выволок, ты про душевность вспомнил! Я из-за таких ребят душевных инфаркт имею, три ваших пули в себе ношу и без снотворного уснуть не могу! И никаких снисхождений не жди себе — это я тебе именно душевно обещаю. Поэтому ты или всю правду — слышишь, всю! — расскажешь, или мы с тобой вопрос решенным считаем. Доказательств по делу — вот, по самую маковку!

Комиссар повернулся на каблуках, спокойно, не спеша прошел к своему креслу; и в то мгновение, пока усаживался, он успел вновь неуловимо нацепить комбинезон своего спокойного благодушия.

— Черствые и бездушные мы люди с тобой, Тихонов, — блеснул он золотыми зубами. — Не имеем деликатного подхода к молодому, неопытному человеку, впервые оступившемуся в жизни.

Я засмеялся:

— Мельник у нас действительно тонкий, мечтательный паренек. Ну так что, Мельник?..

Он подошел к столу, уселся прочно, провел рукой по лысине, деловито сказал:

— А чего ж теперь делать-то мне?! Придется говорить, а то, я вижу, сердит вы, гражданин начальник, сразу в амбицию. Чего ж вас злить понапрасну, и так видать, что вы мужчина серьезный.

— Это с самого начала надо было понять — для собственной же пользы, — сказал комиссар и, нажав кнопку на пульте, сказал в микрофон: — Стенографистку ко мне...

— С чего начинать? — спросил Мельник.

— Сначала. С детства с самого.

— Э-э, долгая будет тогда история. Мне ведь, почитай, годов, как вам обоим, будет.

— Ты на нас жалость не нагоняй, — сказал комиссар. — А лет тебе всего на пять больше, чем мне.

— Труднее мои годы были, потому много они дольше, — мотнул головой Мельник. — Прятаться — оно завсегда тяжелее, чем вдогонку бегать.

— Угу, — кивнул комиссар. — Кто же это тебя прятаться заставлял? Ты же ведь, говорят, как Кулибин, все своими руками сделать можешь. Вот и работал бы себе на здоровье.

— Задарма-то? — зло посмотрел на него Мельник. — Кабы жизнь по-другому выстроилась, я бы миллионер был, своим заводом управлял бы, а не у тебя в кутузке горюнил с ворами-то.

— Чем же это жизнь твоя не задалась?

— Потому как жить по-людски не даете — если человек умен и к работе охоч, должен иметь он свое материальное награждение. Я работать спор да умел, а рядом дармоед. Ему за общественность, за болтовню — грамоту; он, бездельник, как всяк дурак, красному рад, да и не стоит он большего, а мне — на кой шиш нужна мне грамота? Я свою прибыль иметь хочу, а мне прогрессивку, пятак за просто так, в зубы ткнут — и на Доску почетную. Ударник! А мне ваш почет, как рыбке зонтик. Мне моя копейка надобна, тогда бы сроду на чужую не позарился. Да и не брал я никогда чужого, вот до последнего случая. Инструмент фартовым людям делал — это было! Так они его за деньги покупали у меня, а что там творили они с ним, меня это не касается.

— Хороша у тебя философия, — пробормотал комиссар.

— А чего в ней плохого? Это если я в сельпе топор куплю да жене дома башку снесу, что же — продавца со мной под суд? Я свой труд, умение приложил, вещь изготовил, а там не мое дело — фомкой и гусиной лапой орудуют или пользуют как гвоздодер либо там вороток!

Комиссар тихо засмеялся и спросил:

— А ты зачем молнии на фомках ставил? Вещь приметной делал, скорее засыпаться можно было. Зачем?

Мельник пожал плечами:

— Просто так ставил. Вроде знака моего мастерового...

Комиссар покачал головой:

— Не, неправда это, что просто так. А знак свой — это точно. Чтобы не спутали. Риск хоть и понимал, а жадность была сильнее. Блатной переплачивал охотно, шик свой в этом видел, да и вроде гарантии были твои молнии для него — знали, что ты хороший мастер. Но это теперь все неважно, я так, кстати, спросил. Значит, заработку тебе честного не хватало, повязался ты с ворами. Так?

— Так, — согласился Мельник.

— А я вот на тебя уже все бумаги вытребовал, — сказал комиссар. — Не видать по ним, чтобы ты сильно бедовал на государственной получке. Куда тебе больше было, у тебя же детей нет?

— А при чем дети? — удивился Мельник. — Человеку и без детей копейка живая нужна.

— А зачем? — простовато спросил комиссар.

Мельник наклонился к нему ближе, жарко дыша жадностью и завистью.

— Ты соседей, чай, только на нижнем этаже у себя видел. Покои у тебя в квартире, поди, барские, как генералу полагается быть. И машиночка черная, лаковая, с шофером подается по утрам теплая, чтоб не застыл ты по дороге, спаси бог. И дачка об два этажа, из кирпичиков сложенная, с участком на гектар на целый — все, все это имеешь. А мне почему нельзя? У нас ведь равенство! Или я рылом до равенства не вышел? Так ты скажи — я еще потерплю, повременю, когда мне все это понастроят да на блюде с полотенцем подадут...

Комиссар задумчиво барабанил по столу карандашом, а я про себя засмеялся — Мельник до удивления попал не в цвет: комиссар только три года как переехал из коммунальной квартиры в двухкомнатную малогабаритную, из физкультурных соображений принципиально ходит на работу пешком, а дачи не имеет, поскольку яростно ненавидит всякие дачные кошелки, комаров, клубничные грядки и необходимость ежедневно терять два часа на езду. По той же причине он терпеть не может охоту и рыбалку.

А комиссар сказал:

— Да, имею. Квартира хорошая, и дачка ничего, не жалуюсь. И шофер с машиной положен мне по должности. Ну и что? Что следует из этого?

— А то следует, что ты от государства все это за так имеешь, а мне хоть бы малую толику от добра твоего, руками своими мозолистыми заколотить надобно. Вот и считаешь ты меня жуликом, а я ведь хуже тебя только тем, что тоже жить хочу по-людски...

Комиссар засмеялся и с любопытством спросил:

— А кто был твой папа, Мельник? Чем отец занимался?

— Не бойся, не фабрикант, не помещик, не эксплуатировал никого. Трудовой был он человек.

— А точнее? Где трудился? Батрачил? На заводе Нобеля лямку тянул?

— Не батрачил, но и ему в жизни досталось горюшка да слез хлебнуть. Мастеровой он был человек.

Комиссар открыл ящик стола и достал несколько бумажек.

— Вот запросил я о тебе сведения по месту рождения, и подтвердили мне, что твой папаша был действительно человек мастеровой. Архивы, знаешь, какую память долгую держат? И людей-то уж никаких не осталось с тех пор, а там все записано.

Мельник подсох лицом, глаза потускнели, пропал в них жаркий, злой блеск. А комиссар надел на нос очки, отодвинул бумагу подальше от глаз:

— «...Мельник Андрей Никандрович, 1882 года рождения, мешанин города Самары, почетный городской гражданин, жалован золотой медалью Союза русских промышленников, владелец собственного каменного дома и двух доходных домов, держит механическую мастерскую с кузней и слесарную мануфактуру, имеет откупной лист на сборку и ремонт самодвижущихся экипажей американской компании «Форд». В августе 1916 года по-

лучил заказ военного министерства на изготовление бронеавтомобилей, но развернуть производство смог только в 1918 году и поставлял броневики для армий атамана Краснова и генерала Деникина. Участник контрреволюционного заговора в Самаре, расстрелян по приговору Военно-революционного трибунала...»

Комиссар положил бумагу на стол и сказал:

— Вот видишь, и впрямь папаша твой мастеровой был человек.

— А что ж, по-вашему, я за своего отца ответчик? Мне восемь лет было, когда он помер.

— Почему же «ответчик»? Я это к твоему разговору насчет моих богатств несметных и твоей сирости. Моего папашу убили вовсе под Волочаевкой, и был он не мастеровой, а крестьянин из-под Кондопоги. И когда стали мы с тобой сиротами-беспризорниками, перспективы у нас были равные. Но ты был умный — и хотел свое хозяйство поставить. А я был глупый, и от своего голодранства хотел весь мир накормить. Ты на рынке стал чайники паять, а в меня кулак Спиридонов классовое сознание вселил железной чекой по башке. Потом ты стал потихоньку ворованное скупать, а я на Путиловский подался. Ты у себя дома мастерскую налаживаешь, а я — на рабфак. По радио поют: «Вставай, страна огромная...» — я под Ельню, а ты с язвой-то со своей — под бронь механиком-наладчиком на хлебозавод. Что ты так смотришь на меня? Я твою биографию хорошо прочитал...

— Оно и видать! — сказал Мельник.

— Конечно, — невозмутимо ответил комиссар. — Я с батальонной разведкой через линию фронта, а ты с буханкой под фуфайкой — через проходную. Да-а, значит, пришел я с фронта — и в ОББ, отдел борьбы с бандитизмом, а ты — за старое. Я — по «малинам» и притонам, а ты — им инструмент надежный, двумя молниями меченный. И в конце — оба мы с тобой в этом кабинете, только я здесь хозяин, а ты — мне ответчик. Вот видишь, как оно все раскрутилось. А ты боялся, что душевного разговора у нас не получится. Вот теперь и объясни нам, как ты на это дело пошел.

Долго сидел Мельник молча, уперев ладонями тяжелую шишастую голову; и по напряженной широкой спине его я видел, как борются в нем, кипят злость, усталость, гнев, досада, сожаление о невозвратимом, бессилие и необычайная, громадная тоска и жалость о том, что было сделано в целой жизни и теперь бесследно утекает, как вода из пригоршни.

— Ладно, о пустом поговорили, давай по делу теперь, — сказал он.

— Давай, — согласился комиссар.

— Пусть барышня пишет. — Мельник кивнул на стенографистку. — А ты запоминай или там как хочешь. Значит, явился ко мне лет пять назад человек. Стрижка модная — «под ноль»; ясно, с какого курорта. Человек он, видать, немалый — сразу от нескольких моих клиентов привет передал. И не туфту какую-нибудь, а враз я понял — с делом пришел.

— Он вам предложил что-нибудь? — спросил я.

Мельник покачал головой:

— Нет. Привет передал, сказал, что придет еще — поговорим

о делах. Про жизнь мою спросил: какие заработки. А какие они сейчас, заработки, — вы ведь всех воров-«законников» переловили, тех, что инструмент мой пользовали. Шантрапа всякая осталась, так что я не по воле, так по нужде со всеми своими делами завязал — нет боле спроса на мой товар. Ну, дал мне этот человек двести рублей...

— За что? — заинтересовался я.

— Ни за что. В виде временного вспомоществования; мол, ждут нас хорошие будущие дела, это вроде аванца. Я и скумекал, что большой корабль ко мне прибыл, коли ни за что ни про что две сотняги дает — под одни разговоры.

— Значит, вы понимали, что этот человек преступник и планирует противозаконное дело? — задал я линейный вопрос.

— Ну ясно, что не фининспектор. Ты же мне из своей зарплаты две сотни за знакомство не подаришь. Да, короче, исчез он после этого почти на год, а когда явился вновь — не узнал его: разнаряжен, как из-за границы. Обустраивался, говорит, дела приводил в ажур. После этого стал регулярно заглядывать — водки, закуски навезет, анекдоты говорит, о том, о сем расспрашивает, а про дела ни гугу. Я его, конечно, не подгоняю — мерин на кучера не нукает. Пока однажды не приехал он без водки, весь сурьезный. «Давай потолкуем про дела», — говорит мне.

— Когда это было? — спросил комиссар.

— В первых числах октября.

— К этому времени вы что-либо знали о нем — кто он, как зовут, где живет, чем занимается? — Мне казалось, что сейчас Мельник говорит правду, и очень хотелось выжать из него информации побольше, пока не передумал.

— Ничего я о нем не узнал и посейчас не знаю. Яков Крест он назвался, а имя это его, кликуха ли — кто знает. У нас ведь тоже отношения, как в кино у шпионов, — за лишние вопросы язык могут отрезать. Да и вообще — чем меньше знаешь, тем спокойнее.

— А что бы ты мог сказать о нем как о человеке? — спросил комиссар. — В «законе» он? Или из прибалтненных? Культурный он мужчина или как?

— Не знаю, — пожал плечами Мельник. — Непонятный он человек. Я ведь мазуриков всяких достаточно повидал, а этого понять трудно. Он как мылом весь намазанный: только чуток прижал, глядь, — уже выскочил. И крутой мужик, жестокий. Ему по глотке полоснуть, я думаю, как тебе сморкнуться.

— Ну-ну, — сказал комиссар. — Так о чем вы серьезно толковать стали?

— «Я, — говорит мне Крест, — считаю тебя человеком обстоятельным, потому не боюсь тебе открыться. Я ведь, — говорит, — не от себя работаю. Есть один человек, большой Хозяин. Ты про него и не спрашивай даже, я скорее под «вышку» пойду, чем назову его. Умнейший человек. Вот предлагает он одно плевое дело, а деньги посулил за него большие». — «Какое дело?» — спрашиваю. «Квартиру открыть». Я ему отвечаю, что сам на кражи не ходил, никогда и не пойду — боюсь. Я не по этому делу. А Крест смеется: «Забудь, Степан Андреевич, всякие уголовные штучки, тут кражей и не пахнет; эти, мол,

люди орудуют делами, которые нам и не снились. Тебе надо подобрать ключи, открыть квартиру. Хозяин туда войдет, а тебе и близко подходить нельзя. Хозяин посмотрит в столе какие-то бумаги и уйдет, заперев дверь. Деньги в зубы — и катись!»

— Ну, и вы согласились, — сказал я.

— Не враз. Думал я долго. И чем больше, тем пуще охота разбирала. Мне ведь это действительно плевое дело. А деньги посулил он хорошие, и как раз к лету хотел я кровлю железом перекрывать — копейка лишняя бы не помешала.

— Так, дальше, — попросил комиссар.

— Дальше согласился я вскрыть дверь. А Крест снова хочет. «Одумайся, — говорит, — дядя, кто это в наше время ходит замки ломать по ночам! Работа должна быть ювелирной, чтобы никто и не заметил гостей непрошенных». — «А как же быть?» — спрашиваю. «Да Хозяин, — говорит, — все уже придумал и обеспечил. Придешь ночью в этот подъезд, поднимешься на пятый этаж и загонишь шплинт в замочную скважину. А утром с чемоданчиком, — вроде слесаря жэковского, звони в дверь — пришел краны проверять. Станут они отпирать, а замок-то совсем плохо работает со шплинтом внутрь загнанным. Для них-то, очкариков, все слесаря едины; они тебя, как пить дать, попросят замок посмотреть. Вот когда шплинт вынешь, попроси ключи — замок проверить — и на мастику отожди их все. А я пока что владельца квартиры по телефону отвлекать буду, чтобы не мешал он тебе. Закончишь работу, дадут тебе там обязательно рублишко-другой на чай. Ты поблагодари и предложи при любой нужде вызывать тебя прямо по телефону. И номер дай». Удивился я тогда сильно: какой это телефон еще? А Крест говорит: «Не твоего это ума дело, ты смотри не вздумай самостоятельность только разводить — запомни номер и скажи». И добавил мне: «Знай, пока ты будешь слушать и железно выполнять мои указания, все будет нормально. Только от себя ничего не придумывай — это самое главное». В общем, все, как было велено, я сделал...

— А Хозяин не изъявлял пожеланий познакомиться с вами? — задал вопрос я.

— Крест мне сказал, что я увижу Хозяина один раз в жизни, когда квартиру открывать буду. И не только, упаси бог, ему вопросы задавать, но просто разговаривать чтобы не смел. Если что-нибудь Хозяину понадобится, он у меня сам спросит.

Комиссар усмехнулся:

— Видишь, Тихонов, какой у нас корифей под окнами бродит, а мы с тобой спим спокойно и не чешемся.

Мельник сказал:

— Он не уголовный — я это точно знаю. Навидался, слава богу. Он из фраеров. Но власть, видать, громадную имеет, коли перед ним Крест такой шестеркой бегаёт. Но это, конечно, я опосля разглядел. А пятнадцатого числа, в четверг утром, встретились мы с Крестом в городе, и сказал он мне, что вечером пойдем на эту квартиру. И даёт записочку мне, чтобы отправил я телеграмму по адресу. Я спрашиваю: «А на кой телеграмму?» Он смеется: «Облысел ты от годов, Мельник, а ума не нашёл. Если придем вечером, а телеграмма внизу в ящике лежит — значит, пуста квартира, иди себе спокойно». Ну, рас-

прощевались мы до ночи, и поехал я к себе, навел порядок. Волновался я, конечно, — ведь впервой шел на такое дело. Поужинали мы со старухой, и поехал я в двенадцатом часу в Москву. На Маяковской площади встретил меня Крест, сам веселый, злой... «Автомобиль личный подготовил», — говорит. И показывает мне «козла» — вездеходик газовский. А тут подъезжает такси, выходит человек, и Крест мне говорит: «Хозяин прибыли собственной персоной». Подбежал к нему Крест, извивается, как пиявка на шее, что-то шепчет на ухо. А тот молчит, стоит как камень. Потом, не оглядываясь, пошел в подворотню, а Крест мне показывает — давай за ним! В подъезде Хозяин открыл дверь лифта, подумал чуть и говорит мне: «Поднимайтесь и открывайте дверь. Я пойду пешком». Ну, короче, когда он поднялся, я уже все замки отпер. Вошел он в темную квартиру и, слышу, из передней велит: «Спускайтесь вниз по лестнице, ждите внизу, на улице». Я и пошел с радостью, от греха подальше. Минута прошла — никак не более, — смотрю, и он выходит из подъезда, и в руках у него ничего нет. Дошли мы до машины, Крест — навстречу. «Как?» — спрашивает у Хозяина. Тот кивнул только — порядок. Крест протягивает мне

деньги и говорит: «Чеши отсюда, завтра к тебе приеду». Влезли они оба в «козла» и уехали в сторону Самотеки.

— А ты? — спросил комиссар.

— А я пошел в сторону улицы Горького, и стала разбирать меня досада. Стоит фатера отпертая, в парадном ни души, вещей там всяких и денег небось навалом. А самое главное — забрало меня за живое сомнение: если они мне такую денегу только за погляд отвалили, то здесь чего-то не просто так. И телефон, который я оставил в этой квартире, покоя не давал — опасался я, что это мне Крест какую-то пакость учудил, только я не понимаю какую. Ни один вор никаких телефонов оставлять фраерам не станет. И ключи в кармане звякают, как по сердцу ударяют. Тогда я вернулся...

— Ну-у, орел! — ахнул я.

— Да, — твердо повторил Мельник. — Понял я, что обжали они меня, жулье проклятое! Как зашел в кабинет, так и увидел, что шкаф разворочен, и вспомнил, что Крест у меня брал фомку. Драгоценностей, наверное, камушков разных набрали и денег да сбежали. Ну ладно, я и сам с усам. Взял чемоданы здесь же, набил их, чем под руку попадая, — а там все доброе, бери любое,



Рисунки А. ИТКИНА

не прогадаешь. Вырвал листки из книги телефонной, сжег, а пепел на полу растоптал. И ушел. Вот и вся история, чего знал — рассказал. А теперь можете судить...

Комиссар закурил сигарету, щелкнул несколько раз зажигалкой, задумчиво глядя на рвущуюся из форсунки струю голубого пламени, невесело хмыкнул:

— Н-да, историйка интересная. Что ж, Тихонов, спрашивай — тебе и карты в руки...

— Как выглядел Хозяин? — спросил я.

Мельник свел морщины на лбу.

— Как? Обычный он человек, ничем его и не заметишь особенно. Чуть пониже тебя ростом, не толстый. Кепка на глаза надвинута, и воротник поднят. Очки большие на нем были, не то чтобы черные, а темноватые такие.

— При встрече вы его сможете опознать?

— Кто его знает, — развел руками Мельник. — Видел-то я его совсем чуть и притом все время в темноте.

— А Крест? Креста сможешь описать подробно?

— Конечно, смогу. Да толку-то что с этого? Вот стоит он перед глазами моими, а тебе-то в мозги его портрет я же не передам!

— Это не страшно! — успокоил я его. — Прибор у нас есть хороший; и если стоит он у вас перед глазами, то вы нам его на приборе нарисуете, как в фотографии.

Мельник недоверчиво посмотрел на меня:

— А почему же ты знаешь, что я рисовать могу?

— Вам и не надо рисовать. Прибор это сам сделает. Сколько лет Кресту, на ваш взгляд?

— Под пятьдесят примерно. Но парень он крепкий.

— А Хозяину?

— Не могу я точно сказать — плохо видел. Но так, по фигуре судя, он еще не старый.

— Скажите, Крест приехал к вам на другой день, как обещал? — спросил я.

— Нет. Я думал, что он пропал насовсем. Да и чего греха таить, рад я был этому, больше рожу его ехидную не видеть. Хотя и жалко, что такой клиент наваристый ушел. Но только через неделю он объявился снова.

— Чего сказал?

— Сказал, что, мол, все в порядке. Хозяин доволен. Я и сообразил, что он не знает о том, как я после них там потрудился. Ну выпили мы, потолковали. Опосля он сел и написал кому-то два письма. Одно с собой забрал, а второе мне дает. «Смотри, Степан Андреевич, — говорит, — не забудь, отправь его ровно через три дня. Ровно!» Я его спрашиваю: «Что за письмо такое?» А он смеется. «Это, — говорит, — очень важное письмо, смотри не забудь. По этому письму, — говорит, — вместо нас, грешных, Хозяин заместителя отправит на Петровку оправдываться». Непонятно это мне, конечно, было, а Крест все загадками говорит: «Ты Хозяина слушай, он человек умнейший, зря не сделает». — «Так коли все шито-крыто, то на кой ляд письма эти посылать?» — спрашиваю я его. Он мне объясняет: «Милиция на розыске по крупному делу, если следов не имеет — прямо сатанеет. Чего хочешь можно ожидать от них,

если им совсем зацепиться не за что. Вот им и надо помочь — пусть и следы будут, и ответчика им подходящего надо подыскать, пусть занимаются властью. А времечко-то капает, бежит — и все от них, и все к нам. А как до конца докопают да вместо дела найдут фигу, им дороги назад нет — начальство им головы поотрывает за такие ошибочки. Вот и наденут они хомут на того дурака, письмецо который получит. У них там тоже бухгалтерия арапская — план выполнили, галочку поставили, дело можно закрывать...»

Мельник замолчал, перестал скрипеть карандаш стенографистки, комиссар крутил пальцем на столе зажигалку, я пытался изо всех сил сосредоточиться, найти хотя бы микроскопическую щель. Но бесполезно — вход в лабиринт был фальшивым, за нарисованной дверью пугающе темнела глухая стена, и Минотавр был ненастоящим — нам подсунули его чучело...

— «Только один, неизвестный человек, который использовал меня как щит во всей этой истории с кражей скрипки...» — сказал я негромко.

— Чего ты там бормочешь? — поднял голову комиссар.

— Это Иконников написал в последнем письме. Есть во всей этой истории человек, который точно знает, что мы делаем, и ведет активную контригру. А называется он Хозяин.

— Может быть, — пожал плечами комиссар. — А может быть, и нет.

— Вы полагаете, что есть еще закулисная фигура?

Комиссар засмеялся:

— Можно подумать, что Хозяин и Крест сидят у нас в приемной, и осталось только разыскать какую-то таинственную закулисную фигуру. Сейчас и эти двое пока что только звук. Ну, по Кресту мы сделаем фоторобот. А Хозяин? Даже примет нет толковых...

— А может, запросить центральную картотеку на кличку Крест?

Комиссар махнул рукой:

— На двести человек список пришлют. Ты знаешь, что на блатном языке значит Крест?

Я неопределенно хмыкнул.

— Крест значит — вор. Мы с проверкой кандидатов на эту кличку два года будем заниматься.

— Что же делать? У нас ведь никаких выходов на них нет!..

Комиссар посмотрел на меня поверх стекол очков:

— Слушай, Тихонов, а ты никак растерялся? Ц-ц-ц!.. — защелкал он сочувственно языком.

— Тут растеряешься! Голова кругом идет!

— Ай-яй-яй! Какая у тебя слабая голова-то, оказывается. И все-таки, друг мой ситный, придется думать. Имеем мы с тобой композицию из трех человек — Мельник, Крест, Хозяин. Распределение ролей в преступной группе мы себе представляем. Мозговой центр — Хозяин, администратор — Крест, техническое исполнение — Мельник. Это на стадии подготовки и совершения преступления. Такие сообщества для нас не новость. Но затем начинаются вещи несколько необычные...

Я понял, куда клонит комиссар. Я вспомнил его знаменитое отборочное «сито» — сейчас он начнет методично просеивать людей и факты, попавшие в наше поле зрения.

— Да-а, значит, стало нам ясно, что кто-то сбивает следствие с толку. Успешно они действовали?

— Довольно-таки.

— Вот и я о том же. Они отбрыкивались не вслепую, что было бы глупо и только могло привлечь к ним внимание, а действовали совершенно продуманно, точно; я бы сказал, они активно взаимодействовали со следствием, эффективно дезинформируя его. Что следует из этого?

— Они были осведомлены о направлении поиска и состоянии его на отдельных этапах.

— Каким образом? — быстро спросил комиссар.

— Я вижу только два пути: утечка информации, или преступник уже прошел по делу незамеченным. В процессе допроса он мог негативно представить себе положение вещей.

Комиссар закурил сигарету, помахал рукой перед глазами, отгоняя дым, помолчал, потом спросил:

— Для дальнейших наших размышлений какой путь тебе предпочтительней?

— Со всех точек зрения я настаиваю на втором.

— Спокойнее, меньше пафоса. Я ведь тоже предпочитаю второй. Правда, он требует самого внимательного изучения объекта их атаки. Почему они предприняли генеральное наступление именно на Иконникова?

— По-моему, это очевидно. Иконников много лет находится во враждебных отношениях с Поляковым, он имеет репутацию странного человека с приличной сумасшедшинкой. Поведение его в последние годы просто непонятно, а непонятное всегда вызывает подозрение. Это очевидно, — повторил я.

— Вот тебе это очевидно, а мне нет, — сказал комиссар и развел руками так, будто извинился за свою непонятливость. — Мне это не очевидно. Во всяком случае, на месте Хозяина я бы не счел это серьезной базой для атаки.

— Почему?

— Потому! Этот вор — умный и бывалый человек, судя по всему. Он-то знает, что будь Иконников семь раз странный человек — если он не воровал скрипки, то побьемся мы, побьемся с ним и принесем, как говорится, свои извинения.

— Допускаю, что большего им и не надо было — оттянуть то время, что мы будем топтать по неправильному пути.

— Не-ет! — качнул твердо головой комиссар. — Я думаю, что выбор пал на Иконникова по другой причине.

— А именно?

— Именно? — Комиссар снял очки, покрутил их на пальце, бросил на стол и быстро сказал: — Иконников и был для них источником информации.

— Как? — не сразу понял я.

— Иконникова выбрали потому, что один из воров был ему близким человеком. — Комиссар встал из-за стола, прошелся по кабинету, задумчиво сказал: — После разговора с тобой Иконников встречался с этим человеком и подробно пересказывал ему все, что тебя интересовало.

— Значит, этот человек должен был хорошо знать и Полякова, — сказал я. — Только тогда замыкается вся цепь.

— Именно так, — кивнул комиссар. — Вот и надо начинать сначала — по всем твоим спискам отобрать людей, которые хорошо знали и Полякова и Иконникова.

Я стал быстро вспоминать десятки людей, допрошенных по делу — большинство из них знали и того и другого.

— Это должен быть очень близкий человек, — сказал комиссар. — Он прекрасно знает биографии, характеры обоих, он предвидел все возможности «игры» на Иконникова.

— Завтра начну, — сказал я, поднимаясь.

— Ты сам с этим не справишься, — сказал комиссар.

— То есть как?

— А так — прорехи в твоих сведениях будут велики. Я думаю, надо выбрать какого-нибудь человека из твоих свидетелей, чтобы он помог тебе сориентироваться в этом сонмище людей. Иначе год будешь ковыряться...

Комиссар посмотрел на блокнот, нажал кнопку; вошел дежурный.

— Мне завтра к одиннадцати в министерство на совещание, приготовьте наш отчет за прошлый год по преступности несовершеннолетних. К пятнадцати часам вызовите начальника розыска из Кировского района. В шестнадцать я жду полковника Арапова со всеми материалами по убийству в Дегунине. В семнадцать слушаем группу Бекина...

— В семнадцать тридцать у вас выступление на активе народных дружин, товарищ комиссар, в кинотеатре «Енисей», — сказал дежурный.

— Угу, верно. Тогда отложим группу Бекина на послезавтра. А в девятнадцать тридцать пригласите ко мне Колесова, пусть захватит заключение баллистов. Пока все...

Дежурный вышел, а я взглянул на часы: три. Комиссар устал потянулся, включил приемник. Из динамика рванулась бойкая мелодия, и игривый голос предложил послушать по «Маяку» утреннюю передачу «Опять двадцать пять».

Комиссар засмеялся:

— Это, наверное, специально для меня ее прокручивают сначала ночью. Вот когда я начну ее слушать вместе со всеми людьми в семь утра, — тогда, значит, в городе все в порядке. Ладно, поехал спать.

ГЛАВА 2. НЕЛЬЗЯ ЗЛОДЕЙСТВО УСУГУБЛЯТЬ ГЛУПОСТЬЮ...

В 1761 году Антонио Страдивари постиг новый страшный удар — Джузеппе, самый способный из сыновей, работающий, тихий и безропотный, заболел холерой.

К вечеру молва об этом облетела всю Кремону, и в полночь дом окружила огромная толпа горожан с камнями и факелами в руках. Они требовали отвезти Джузеппе в монастырский барак, а дом вместе с дьявольскими скрипками и колдовскими варевами, которые по ночам варит Страдивари,

отравляя округу зловонием, сжечь дотла, чтобы болезнь не перекинулась на весь город.

Дом был безмолвен, ставни глухо закрыты, ни единого огонька не светило в жилье, и это еще сильнее пугало людей, и от испуга они неистовствовали сильнее. Потом глухо брякнула щеколда и на лестницу вышел Страдивари. В одной руке он держал зажженную свечу, а в другой — заряженную аркебузу.

Люди стихли мгновенно, и Страдивари молчал, и над улицей повисла жаркая сердитая тишина, разрезаемая лишь шипением смоляных факелов; и длилось это довольно долго, пока чей-то тонкий визг не взлетел петардой над толпой:



— Убейте колдуна! Он всем нам принесет погибель!

Волной прихлынула толпа к ступеням, свистнул в темноте камень, и с лица мастера цевкой брызнула кровь. Он спокойно отер ее рукавом белой рубахи, и она сразу почернела, будто жадным зубом вырвали из нее клоч.

— Бей!.. Поджигайте дом!..

Страдивари поднял аркебузу.

— Первый, кто сделает шаг по лестнице, умрет, — сказал он негромко, и тихий сипловатый голос его перекрыл гам и вопли.

Передние остановились, задние продолжали напирать. За спиной Страдивари появился Франческо с мушкетом.

— Болезнь моего сына вам ничем не грозит, — сказал мастер. — Из этого дома никто не выйдет, пока мой Джузеппе не выздоровеет. Или пока мы все не умрем. Тогда вы смо-

жете прийти и делать здесь все, что вам вздумается. До этого здесь хозяин я, и каждый, кто переступит порог без моего разрешения, умрет...

Сын лавочника Квадрелли, пьяный, в растерзанной одежде, закричал: «Что вы слушаете колдуна?!» — и побежал по лестнице вверх.

Страдивари, не целясь, вскинул аркебузу, нажал курок. В темноте все увидели желтую дымную вспышку у конца длинного ствола, прежде чем донесся резкий щелчок выстрела. Квадрелли схватился за грудь, на лице его замерло бездумное удивление, потом он медленно осел на ступени и стал съезжать по лестнице вниз; и на каждой ступеньке его голова глухо ударялась о доски, и этот тупой звук будто колышками отделял онемевшую толпу от неподвижно стоявших отца и сына Страдивари.

Антонио опустил ружье и сказал:

— Вы боитесь не болезни, а своего страха. И чтобы избавиться от него, решили убить беззащитного больного человека и уничтожить то, что я искал всю жизнь. Уходите отсюда, иначе вы дорого заплатите...

Повернулся и вошел в дом. С грохотом захлопнулась дверь, лягнула щеколда, и все стихло. Толпа очнулась от оцепенения, и люди с криками побежали прочь от проклятого дома.

Антонио вошел в комнату, где в беспамятстве метался Джузеппе, и сказал жене и детям:

— В эту комнату больше не входите, сюда буду входить только я. Ты, мать, молись. Мы ни в чем и никогда не нарушали божьих заповедей. Всю жизнь я только трудился — мне было некогда грешить. Молись, может быть, он услышит твой глас. А вы, ребята, с завтрашнего дня продолжайте работать в мастерской. Болезнь и слабость охотнее нападают на праздных людей. Пророк Исайя сказал: «Не бойся, ибо я с тобой».

Всю ночь Антонио варил что-то в мастерской, запах уксуса и хлора заполнил весь дом. Смердящей жидкостью велел всем домашним вытирать руки, протереть все предметы в комнатах, окна и двери. Еду и питье сыну носил сам, и сам же прибирал у него, поил какими-то травами и снадобьями.

На сороковой день, высохший как скелет, на неверных дрожащих ногах спустился Джузеппе в мастерскую и сказал:

— Отец, час обетования пробил. Господь оставил мне жизнь для служения ему. Я прошу вас благословить меня — мне должно удалиться от мира...

Антонио Страдивари в ногах валялся у сына, рыдал, стоя перед ним на коленях, умолял не спешить, подумать еще.

Через месяц Джузеппе Страдивари, еще не окрепший после болезни, облачившись во власяницу, с непокрытой головой, захватив из дому лишь краюху хлеба, ушел в Парму. Вскоре стало известно, что он принял послушание, а затем был пострижен.

Великий мастер потерял еще одного сына...

С годами Антонио Страдивари охватила неизъяснимая страсть к любым, пускай самым бессмысленным, вычислениям. Часами он сидел с грифельной доской и выводил на ней длинные ко-

лонки цифр. Он считал проценты в банках на свой капитал, суммы, которые должны поступить на принятые заказы, он высчитывал кривые, образующие наилучшую форму скрипки и расходу на еду. В этот горестный год ему исполнилось сорок семь лет; и накануне своего дня рождения он подсчитал, что простоял у верстака ровно десять тысяч дней и сделал свыше четырехсот инструментов. Им овладела навязчивая идея, что надо привести все дела в абсолютный порядок, потому что человек не знает своего часа. С маниакальной настойчивостью он целыми днями считал. Вычисляя однажды, сколько надо будет заплатить за турецкий корабельный лес, который он хотел использовать для скрипок — эти доски сушились и выдерживались десятилетиями, — Страдивари стал прикидывать количество дерева, потребное для одного инструмента. Потом стал считать объем скрипичной коробки, и работа эта была долгая и увлекательная. Дело в том, что сам-то объем неизменен, как собор святого Марка, но образующие его всегда различны. Объем нельзя уменьшить — скрипка засипит, начнет глухо бубнить. Если увеличить — пронзительно завизжит, басы станут тусклыми и слабыми. А если?..

Страдивари считал всю ночь, а утром начал строить новую скрипку. Сыновья — Франческо и Омобони — с удивлением смотрели на этого уродца. Длинная — на вершок длиннее обычной, плоская, как раздавленная селедка. Изгиб дек был еле-еле намечен, очень высокая подставка горбом натягивала струны.

Никогда еще так быстро не работал Страдивари. Он не мог дожидаться, когда просохнет на скрипке лак.

Наконец он снял с сушилки готовую скрипку, приложил ее к щеке и заиграл. В это утро Антонио Страдивари играл на скрипке, которую впоследствии музыканты называли классической. Звук был огромен, никто никогда не слышал, чтобы скрипка пела таким могучим, серебряным, светлым голосом, никто не знал, что в ней может быть клич боевой трубы и ласковый лепет свирели, что она может кричать безмерным отцовским горем и тихим всхлипыванием матери, что есть в ней смех ребенка, шелест трав, песни птиц, плеск вина и грохот боя, звон сабель и трепет флагов.

Страдивари играл на новой скрипке, и слезы катились безостановочно по седой щетине его щек, и он думал о том, что последний раз плакал тридцать лет назад, когда он решил — жизнь окончена, а жизнь тогда вовсе только начиналась, чтобы он мог пройти школу Амати, родить четырех сыновей, двух потерять и создать такое божественное чудо на исходе своих духовных сил.

И в этот миг горького, мучительного счастья Антонио Страдивари не знал, что пока еще он прожил только половину своей большой и трудной жизни и что самое важное и самое интересное впереди...

* * *

Белаш закурил сигарету и спросил:

— Так я не понял: вы мне предлагаете стать вашим добровольным помощником? Это, кажется, так называется?

— Мне безразлично, как это называется, — сказал я. — Но я должен как-то сориентироваться в этом хаосе людей и их отношений.

Белаш недоуменно пожал плечами:

— А почему вы обратились именно ко мне?

— По многим причинам. Вы разумный, интеллигентный человек. Вы в курсе отношений Полякова и Иконникова, наверняка знаете многих из их общих знакомых. Поэтому вы скорее других поможете мне отыскать истину.

Белаш махнул рукой:

— Да ну! Борьба за истину вообще вроде перетягивания каната — у кого сил больше.

— В каком смысле?

— В любом. Допустим, что мы с вами истину установим. Но Иконников об этом никогда уже не узнает.

— Но остается еще Поляков, — напомнил я. — Мы еще все остаемся.

— А-а! Я хорошо знаю Полякова и могу утверждать, что ему познание истины такой ценой было не нужно.

— Мне кажется, вы путаете логические понятия «из-за этого» и «после этого», — сказал я. — Я хочу сказать, что Иконников умер не из-за того, что украли скрипку...

— А из-за чего? — взвился Белаш.

— Во-первых, не исключено, что это был несчастный случай... — не спеша начал я.

Несмотря на то, что Белашу я верил — допросами свидетелей и проверкой документов было установлено, что он в день кражи находился в Ленинграде, это был непреложный факт, — я все равно не хотел без острой необходимости подробно информировать его. Человек такого склада ради красного словца и интересной байки мог разболтать полученные сведения именно в том кругу людей, где, по моим расчетам, мог затаиться вор.

Белаш твердо перебил меня:

— Не рассказывайте мне сказок. Вы же сами пригласили меня для доверительного разговора. И чтобы найти выход из этого положения, нам надо смотреть фактам в лицо...

— А почему вы думаете, что смерть Иконникова — это обязательно самоубийство? — спросил я осторожно.

— Потому что оценка улики напоминает мне возникновение суеверий. То, чему мы не придаем значения в обычных условиях, в обстановке трагической приобретает зловещий характер.

— А именно?

— Да не смогу я вам всего этого объяснить сейчас — ведь предчувствия не могут быть следственным аргументом.

— А у вас были предчувствия на этот счет?

— Были. После разговора с вами у меня осталось какое-то неприятное ощущение. Не знаю, как это объяснить: я почему-то стал волноваться за Иконникова.

— И вы с ним повидались, чтобы сообщить об этом? — спросил я лениво.

Белаш тяжело вздохнул:

— К сожалению, нет. Ведь у каждого из нас впереди целая вечность, и отрываться от важных дел ради какого-то смутного

беспокойства мы не можем. И всегда есть утешение — завтра поговорим. Или послезавтра. В крайнем случае, через неделю — никуда все это не уйдет. И разговор, действительно, не уходит. А вот самого человека иногда уже... — Он огорченно махнул рукой и снова вздохнул.

— Но ведь это было не пустячное дело, — сказал я. — Вы-то знали, в какой связи нас интересует Иконников.

— Да. Но, несмотря на мои дурные предчувствия, я не представлял, что кончится так страшно.

— А как? Как вы это себе представляли?

— Ах, чего сейчас об этом говорить! Тут не объяснишь. Надо было знать Иконникова.

— В смысле?..

— В манере поведения. Иконников всегда говорил и чувствовал на таком накале, что иногда казалось, будто сей миг он заплачет. Но он ни разу не заплакал, и от этого я ему перестал верить. Мне как-то в голову не приходило, что он способен на такой поступок. А вот смог...

Белаш замолчал, сердито раздавил окурок сигареты в пепельнице, походил по кабинету, о чем-то раздумывая. Я его не трогал, мне важно было, чтобы он согласился мне помочь. Белаш спросил:

— Ну а конкретно, в чем может выразиться моя помощь?

— Мне нужно, чтобы вы постарались вспомнить всех людей, которые поддерживали достаточно близкие отношения и с Поляковым и с Иконниковым. Не только лично вам знакомых, но даже тех, о которых просто слышали в разговорах.

— Ничего себе работенка! — дернул плечом Белаш.

Я промолчал. И Белаш больше ничего не сказал. Он долго думал, потом сказал:

— А почему бы вам у Полякова об этом не спросить?

Я усмехнулся:

— Еще спрошу. Но, помимо перечня людей, мне нужна их характеристика. Так сказать, социально-психологический портрет. А здесь вашему жизненному опыту, интуиции и созерцательной объективности я отдаю предпочтение.

— Понятно, — кивнул Белаш. — Хорошо, я постараюсь вам помочь. Не по душе мне ковыряться в чужих отношениях, но я это сделаю ради Иконникова.

— Почему — ради Иконникова?

— Мне кажется, перед смертью он догадался, кто мог украсть скрипку. Но не стал говорить об этом. И, по-моему, был не прав. Но мы с ним никогда ни в чем не соглашались, и я обязан сделать ответный ход. Нельзя злодейство усугублять глупостью.

Я кивнул:

— Вполне с вами согласен.

— Пишите, — сказал он. — Первый: Белаш Григорий Петрович...

Я поднял на него взгляд.

Белаш твердо сказал:

— Да-да. Я много лет знаком и с Поляковым и с Иконниковым, и все мои показания тоже нуждаются в проверке, — и со смехом добавил: — А сам я — в социально-психологическом портрете...

Я пожал плечами и записал его фамилию.

— Пишите дальше: скрипач Казаринов, дирижер Станиловский, композитор Шевкунов, шофер Полякова — Симоненко, виолончелист... парикмахер... — начал перечислять Белаш.

— У меня дочка. Брунетка. Студентка. Третий курс. Чтобы я так видел ее счастливой, как то, что я вам говорю, — правда.

Соломон Александрович Кац посмотрел мне пристально в лицо и снова убежденно сказал:

— Чтобы я так видел своих внуков здоровенькими — это святая истина. Перед каждым ответственным концертом Паша Иконников приходил ко мне — он всегда говорил: «У тебя, Соломончик, счастливая рука...» Это правда, как вы видите меня стоящим перед вами.

Быстро, плавно, легко Кац провел бритвой по правочному ремню, взял меня своей счастливой рукой за подбородок, взял твердо, точно, и стальное блестящее жало с тихим треском поползло по намыленной щеке. В этот послеобеденный час я был единственным посетителем маленькой парикмахерской Дома композиторов.

— Если бы он не перестал ходить ко мне, может быть, все не получилось так некрасиво, — продолжал свое неспешное повествование Кац.

Видимо, у меня дрогнула кожа от ухмылки, потому что он заметил это и сказал мне нравоучительно:

— Вы зря смеетесь с меня, молодой человек. Для человека, связанного с риском судьбы, парикмахер много значит. Иногда парикмахеры делали вкус и моду на несколько веков...

Отворилась стеклянная дверь, и вошел очередной клиент. Я его не видел, поскольку Кац, отложив бритву, воздел мое лицо к потолку, и я рассматривал неизвестно как попавшую сюда среди зимы муху, неспешно гулявшую по потолку с лепниной. Я только услышал глуховатый, с сипотцой голос:

— Соломончик, привет!

Не отпуская моего подбородка, Кац оглянулся и радостно заперхал:

— О-о, хе-хе-хе! Кого я вижу! Мосье Дзасохов! Сколько лет, сколько зим!..

— Смотри, не забыл, оказывается, — удивился глухой голос.

— Чтоб я о вас так забыл, как я о вас помню! — весело сказал Кац.

— Напекаешь, дорогой мой Соломончик, что мы расстались, а должок за мной в сто рублей числится? — сказал человек за моей спиной.

Кац сделал изящное пассе бритвой по моей щеке — не то, что пробрил, а прямо скрипичный ключ нарисовал, заметил со смешком:

— Это не просто должок, это почти волшебный долг. Когда вы у меня брали на пару дней деньги, они назывались тысячей рублей. После реформы получилось сто рублей. Еще немного — и они могут стать одним рублем, а это как раз моя такса, и мы будем считать, что однажды я вас обслужил бесплатно.

Человек сипло засмеялся:

— Ну мудрый Соломон! Ты же знаешь, что не в моих правилах заставлять людей работать бесплатно. Так что я долг принес...

Кац удивился так сильно, что отпустил мой подбородок. Я посмотрел в зеркало и увидел человека с сильным голосом, которого Кац называл простенько, но со вкусом — «мосье Дзасохов».

— Ну вы слышали что-нибудь подобного? — сказал Кац. — Я как будто нашел этих денег. Хе! Когда бедняк радуется? Когда теряет, а потом находит!..

Дзасохов захохотал:

— Соломончик, брось прибедняться! У тебя в чулке наверняка припрятана тугая копейка — сыну на свадьбу, дочке на кооператив, молодым на обзаведенье...

— Вы забыли мою любимую поговорку, — кротко сказал Кац.

— Какую?

— Считать чужие деньги — главное занятие дураков и бездельников. Вы не думаете, что это кто-то хорошо сказал?

Дзасохов снова засмеялся:

— Соломончик, мое несчастье в том, что я только бездельник. Я же ведь не дурак, ты это знаешь.

Кац ответил:

— Главное, чтоб вы это знали. Кстати, вы намерены привести свою голову в порядок? Я чувствую, что последние пару лет вы стриглись у какого-то горного маэстро в очередь с овцами...

Дзасохов внимательно посмотрел на себя в зеркало. И я смотрел на него — тоже в зеркало. Да-а, тут для парикмахера был фронт работы. Наверное, мне в жизни не доводилось видеть более волосатого человека. С висков волосы тесно надвигались на небольшой лоб, густой чернотой выползали прямо из-под глаз, синей проволоочной щетиной перли со щек, клубились в расстегнутом вороте рубашки. Из прически можно было сделать потрясающий женский шиньон. В общем, лицо, как в школьном учебнике — «волосатый человек Евтихийев».

Дзасохов мельком взглянул на меня, повернулся к Кацу:

— А у тебя еще много работы, Соломончик?

— На полчаса. Вы же знаете, я гарантирую качество.

Дзасохов мгновение колебался, потом махнул рукой:

— Нет, я лучше тогда завтра забегу. Сегодня обойдусь одулянсоном на дому.

— Ну, как вам будет удобнее. Но сегодня я бы вас обслужил бесплатно, по самому высшему разряду.

— С чего это вдруг? — хитро прищурил Дзасохов глаз в волосатых джунглях.

Кац второй раз намылил мне лицо, прижал к коже раскаленную салфетку, снова намылил и сказал:

— В нашем местечке жил водовоз, старый, совсем неграмотный человек. И за всю свою жизнь он накопил сто рублей. Он слышал как-то, что люди, у которых есть деньги, кладут их на проценты. Поэтому он пошел к развину и сказал: «Реббе, возьмите к себе мои сто рублей, а за проценты я вам буду бесплатно возить воду...» Вот и я хотел вас постричь за проценты.

Дзасохов улыбнулся, обнял Каца, поцеловал его в седую снежно-белую макушку:

— Соломончик, я не такой мудрый, как ты, но в жизни я сделал два точных наблюдения: больше всех о любви треплются самые неудачливые любовники, и чаще других о деньгах толкуют бескорыстные люди. Все, я побегал, завтра к тебе зайду...

Кац опять приложил компресс; и когда жар стал невыносим, а я почти задохнулся от него, он сорвал салфетку и стал быстро крутить ее перед лицом — приятные струйки прохладного воздуха заласкали щеки, лоб, подбородок.

— Сейчас все бреются электробритвами, и в этом видна наша жизнь... Быстро... Быстро... В парикмахерскую некогда ходить... А ну взгляните зато на кожу у глаз — и вы увидите, что у совсем молодых людей полно морщин... Все стали много думать, много переживать, много хмуриться... Много нервничают — много морщин на лбу... В этом зеркале многое отражается... Мы живем в быстрое время, в нервное время... Вот и лысеют — тоже от этого... Раньше вы видели столько лысых?

Я сказал лениво:

— Вот на вашем друге это не сильно отразилось.

— Да, конечно, — согласился Кац. — Все люди разные. Но если вы думаете, что его жизнь не была, то вы-таки да, ошибаетесь...

— Упаси бог, я так не думаю, — поспешил оправдаться я.

— И это несмотря на то, что никто в мире не знает бильярдиста и маркера лучшего него. Если бы разыгрывали чемпионат мира в бильярд, как в футбол, Дзасохов был бы большой человек.

Кац рассказывал всякие истории, окутывая меня словами и струйками обязательного парикмахерского одеколона «В полет», а я сидел и думал о Дзасохове, которого велел запомнить Кац, хотя я бы его и так запомнил, даже если бы он не велел мне его запомнить, потому что только сегодня утром я держал в руках фотографию Дзасохова, и в приложенной к ней справке было написано: «Кисляев Николай Георгиевич, 1920 года рождения, инструктор трудового обучения производственного комбината Всесоюзного общества глухих...»

Дзасохов смотрел на меня, и по его глазам я видел, что он мучительно пытается восстановить в памяти, где он меня встречал. А я не напоминал. И ему было довольно затруднительно вспомнить обросшую белой мыльной бородой физиономию, на которую он мельком бросил взгляд вчера в парикмахерском зеркале старого Соломончика Каца.

— Я не понял вашего вопроса? — переспросил он.

— Меня интересует, Николай Георгиевич, чему вы учите ваших работников на комбинате.

— Я лично?

— Ну да. Вы лично.

— У меня две группы. В основном это глухонемые — инвалиды с детства, без перспектив восстановления утраченных функций. Я обучаю их картонажным и переплетным работам. Вот образец нашей продукции. — Он протянул мне детскую книжечку-раскладушку. Длинная цветная картонная гармошка — «Сказка о Курочке-Рябе»,



Книжка была красивая, с очень хорошими рисунками. Рисунки, наверное, делал тоже глухонемой, потому что все события в сказке, весь сюжет были переданы художником исключительно точно, выразительно, в движениях и позах персонажей. Курочка-Ряба была похожа на человека, у нее было человеческое лицо — есть такой тип женщин с узким, слегка вытянутым лицом,

острым носиком и большими, очень грустными глазами, с тонкими немигающими перепонками прозрачных век. Очень грустными глазами смотрела на деда с бабой Курочка-Ряба, и по ней было видно, что она и для себя самой совсем неожиданно снесла не простое яичко, а золотое; и теперь, когда мышка его разбила, смахнув на пол хвостом, курочка была не рада всей этой дурацкой истории с необыкновенным яйцом, от которого произошли сплошные неприятности. И обещала снести новое яичко она скорее для того, чтобы успокоить стариков, поскольку сама-то понимала: разве чудеса повторяются дважды?

— А чьи это рисунки? — спросил я.

— Мои, — ответил коротко Дзасохов.

— А вы кому-нибудь еще их предлагаете?

— Нет.

— Чего так?

— А я сам недавно узнал, что умею рисовать для детей.

— Вы давно в комбинате?

Дзасохов потер ладонью свою невообразимую щетину, ответил неопределенно:

— Да уж порядочно времени будет...

Я знал, что он работает с глухонемыми четырнадцать месяцев. Почти сразу после отбытия трехлетнего заключения за мошенничество.

— Порядочно, говорите?

— Да, — сказал он, как отрезал, и сейчас в нем трудно было узнать того веселого шутника, который вчера вернул давнишний долг парикмахеру Кацу.

А может быть, все дело в том, что не разыгрывают первенства мира по бильярду, и по чьей-то дурацкой прихоти эта прекрасная игра существует как-то полулегально, но уж, во всяком случае, Дзасохов не выглядел большим человеком. Так, тихий волосатый человечек, который умеет рисовать в длинных книжках-раскладушках грустных куриц с мудрым взглядом. И чего-то расхотелось мне доводить комбинацию до конца и точно, напавал «раскладывать» его. Я просто спросил:

— Слушайте, Дзасохов, а вы чего живете под чужой фамилией?

Он дернулся, заерзал на стуле, будто я ударил его ребром ладони по шее. Помолчал, усмехнулся, как-то безразлично сказал:

— Мне так больше нравится.

— Что значит — нравится? Это же не ботинки — не нравятся старые, выкинул и купил новые. Менять самовольно фамилию не разрешается.

— А почему?

— Потому! Если бы вы взяли себе фамилию Рембрандт, я бы вам вопросов не задавал. А если вы самовольно берете себе фамилию Кисляев — значит, это не от хорошей жизни.

— А я не самовольно. Я официально изменил фамилию через органы загса.

— На каком основании? — удивился я.

— В связи со вступлением в брак. Женился я. И взял фамилию жены. Имею право? А?

Я покачал головой и сказал:

— Вы уж извините меня за бестактные вопросы, но...

Он махнул рукой:

— Ваяйте дальше. У вас работа такая. Когда вы приглашаете сюда, в этом уже содержится элемент бестактности...

— Почему же так категорически?

— Потому что вы хотите выяснить, не имею ли я отношения к краже скрипки у Полякова. И в самой постановке вопроса имеется оскорбительный для каждого честного человека момент — назовем это бестактностью.

Я вскинул на него взгляд, и он поймал его, как опытный волейболист ставит мгновенный блок над сеткой.

— Да-да, — подтвердил он. — Вы хотели сказать, что вчерашний арестант не может пользоваться моральными привилегиями честного человека?

Я ничего не ответил, а он закончил:

— Вот поэтому я и взял фамилию жены. Человек с некрасивой фамилией Кисляев имеет моральных прав много больше, чем Дзасохов. Перед теми, конечно, кто не знает, что это одно и то же лицо. Что вас еще интересует?

Меня очень интересовало, почему он отдал сейчас долг, который не мог возратить много лет, но спросить об этом как-то не поворачивался язык.

— Вы давно знаете Иконникова и Полякова?

— Очень давно. Еще до войны. Я работал маркером бильярдной в Парке культуры, и они часто заезжали поиграть со мной.

Я обратил внимание, что он сказал «работал». Хотя, наверное, это работа и нелегкая, коли люди приезжали специально поиграть с ним.

— А что, они увлекались бильярдом?

— Лев Осипович прекрасно играет. У него восхитительный глазомер, нервная, очень чуткая рука. Но ему всегда не хватало духа, ну, азарта, что ли. Нет в нем настоящей игровой сердитости. Иконников в турнирных партиях всегда его обыгрывал. Хотя сам рисунок игры Полякова и был красивее...

— Вы поддерживали с ним знакомство все эти годы?

— Льва Осиповича я не видел уже множество лет. А с Иконниковым мы до последнего времени общались.

— А точнее?

— Точнее некуда. В последний раз я его видел дня за три до смерти.

— Вы говорили с ним о краже у Полякова?

— Нет, не говорили.

— Странно, — заметил я. — Тема-то куда как волнующая. А Иконников был всем этим весьма озабочен.

— Я думаю, — усмехнулся Дзасохов. — Под таким мечом находиться...

— А что — под мечом? — снаивничал я. — Иконников тут при чем?

Дзасохов пожал плечами, неуверенно сказал:

— Не знаю, правда или нет, но против него ведь вроде было выдвинуто обвинение...

— Откуда вы это взяли? — быстро спросил я.

— Слышал такое. Мир тесен...

— А все-таки? Кто это вам сказал?

— Сашка Содомский. Он, конечно, трепач первостатейный, но такое из пальца не высосешь. Тем более что при мне у них произошел скандал.

— Что он за человек, этот Содомский?

— Так, — сделал неопределенный жест Дзасохов. — Живет хлеб жует. Человек как человек. Распространяет театральные билеты.

— Я заметил, что вы о нем говорили без малейшего почтения, — сказал я, и Дзасохов улыбнулся.

— О нем все говорят без почтения. Ну, а уж мне-то сам бог велел...

— Почему именно вам?

— Да ведь мне теперь помереть придется с элегантной фамилией Кисляев — и не без его участия. Это он меня, дурака, «жить научил».

— То есть?

— Несколько лет назад остался я без работы, и денег, естественно, ни хрена. Пошел я к Сашке перехватить четвертак. Денег он мне, правда, не дал, но говорит: «С твоими-то руками побираться — глупее не придумаешь...» Научил, как делать фальшивые царские червонцы и с покупателем свел...

Дзасохов замолчал. У него были очень красивые руки — хоть и непропорционально крупные на таком небольшом туловище. Сильные, с крепкими длинными пальцами, четким рисунком мышц и жил. И в руках этих совсем не было суетливости, они спокойно, твердо лежали на столе, и по ним совсем не было заметно, что Дзасохов волнуется. Иногда только он проводил ладонью по своей немыслимой шевелюре, и снова руки спокойно лежали на столе, с гибкими и мощными кистями, которые могли делать королевские партии в бильярд, рисовать куриц со скорбными глазами и формовки для «царских золотых» монет.

— И что дальше было? — спросил я, хотя знал почти все, что произошло дальше: утром я успел прочитать справку по делу. Но никаких упоминаний о Содомском там не было.

— Ничего, — сказал Дзасохов. — Три года общего режима.

— А почему вы на следствии не рассказали о Содомском? — спросил я.

— Зачем? Я ведь не малый ребенок, которого охмурил злой демон Содомский. Когда соглашался, знал, на что шел. А получилось — собрался за шерстью, а вернулся стриженный...

— Но ведь Содомский, как я понимаю, был организатором этого преступления. А отдувались вы один.

— А может, не был — он и за комиссионные мог участвовать. Кроме того, вы, наверное, не поняли меня — я ведь вовсе не слезами восторга и раскаяния принял приговор суда.

— Ну восторгаться там и нечем было. А раскаяние вам бы не помешало — может быть, наказание меньше назначили.

— Мне и так несправедливо тяжелое наказание дали. От моего так называемого преступления никто не пострадал.

Я засмеялся;

— Это просто вам не повезло, что сразу поймали.

Дзасохов махнул рукой:

— Я не об этом. Честный человек не станет скупать золотые монеты, будь они хоть трижды настоящие, а не фальшивые. Даже если бы мое преступление удалось — тоже ничего страшного: подумаешь, вор у вора дубинку украл!

Ухмыляясь, я развел руками:

— Мой начальник говорит, что каждый должен заниматься своим делом. Вот наказывать жуликов — это наша задача. Вы тут ни при чем — занимались бы своими делами. Не можем мы допустить, чтобы преступники у нас между собой разбирались по своим понятиям о справедливости.

— А я и не говорю ничего, — пожал плечами Дзасохов.

— Но одной вещи я все-таки не понимаю, — сказал я.

— Какой? — поднял на меня спокойные глаза Дзасохов.

— Почему вы мне это сейчас рассказали, умолчав на следствии?

Дзасохов достал пачку «Казбека», вынул папиросу, подул в бумажный мундштук, постучал папиросой о ладонь, двойным прижимом смял мундштук, прикурил, помахал спичкой перед тем, как бросить ее в пепельницу, затянулся и пустил длинную фигуристую струю дыма к потолку. И делал он все это не спеша, внимательно, очень спокойно; и мне почему-то не нравилось это спокойствие — было в нем какое-то упорное внутреннее напряжение, неподвижность характера, немота чувств, неестественный покой клочка воды, залитого маслом, когда вокруг бушуют волны и летят во все стороны брызги. Дзасохов покурив немного, сказал:

— А потому, что вопрос этот давно иссяк. Вы же не побежите сейчас возбуждать дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Да и я своих слов подтверждать не стану.

— Почему?

— Потому что я с той жизнью, со всеми людьми из нее, со всем, что там было — хорошим и противным, — со всем закончил навсегда. Из той жизни у меня оставались две привязанности — Иконников и старый смешной чудака Соломон Кац. Вот Иконников уже умер.

— А что в новой жизни?

— Все. Я в сорок шесть лет вдруг узнал, что умею рисовать картиночки, которые почему-то ужасно нравятся детям. И я сейчас очень тороплюсь — мне надо наверстать хотя бы часть из того, что я не успел сделать раньше и чем должен был заниматься всю жизнь. Понятно?

— Понятно, — кивнул я и, набравшись наконец храбрости, спросил: — Скажите, пожалуйста, вы вот в течение многих лет не отдавали долг Соломону Кацу, а вчера возвратили. С чем это связано?

Он удивленно повернулся ко мне, мгновение всматривался, потом засмеялся:

— Ах это вы были — в кресле, намыленный? То-то я все старался вспомнить ваши глаза — где я их видел.

— Да, это был я.

— Долг я возвратил из гонорара, который получил за эту

книжечку, — он кивнул на раскладушку «Курочка-Ряба», лежавшую на углу стола.

— Прекрасно. И последний вопрос: что могло связывать Иконникова с Содомским?

— Так ведь когда-то Сашка Содомский был постоянным концертным администратором Иконникова, — сказал Дзасохов. — В конце концов Иконников его со скандалом прогнал...

— А потом помирились, что ли? — уточнил я.

— Ну да. Другие дела уже были — Иконников Паша не тот стал...

— Из-за чего скандал получился? — спросил я.

— Да я точно не знаю, так, в общих чертах, — неуверенно сказал Дзасохов и зябко потер щетину на лице.

— Можно и не очень точно... Вы хотя бы так, в общих чертах расскажите.

— В общих чертах — Иконников послал Сашку взять в репетиционном фонде скрипку для кого-то из своих учеников...

— Подождите, Дзасохов. Разве у Иконникова были ученики?

— А как же? — удивился Дзасохов. — Конечно!

— Вы не ошибаетесь?

— Да что вы спрашиваете? Я сам знал некоторых...

— Ну, ну, извините. Дальше. Что такое репетиционный фонд?

— Ну есть в филармонии такая кладовочка, а в ней старичок пенсионер. Лежат в кладовочке разные инструменты, а старичок выдает их исполнителям, если у кого они сломались или там почему-то еще. Инструменты, конечно, барахло, старый хлам — понятное дело, прокат. Пришел туда Содомский, поковырялся, а у него глаз-алмаз, нашел какую-то скрипочку без струн, без колков, всю в белилах перепачканную. Взял скрипочку — и к скрипичному мастеру Батищеву. Тот прямо затрясся, как увидел: старинная скрипка, предположительный автор — Бергонци, в крайнем случае — Винченцо Панормо, начало восемнадцатого века. Короче, больше этой скрипки никто и не видел. Через год Содомский пришел в фонд, заявил, что скрипочку у него украли, и согласился возместить ее стоимость. А ей цена по описи — грош с половиной. Так бы об этом никто не узнал, но мастер Батищев входил в инвентаризационную комиссию и сообразил, что это за штучки. Он и начал кричать, что год назад ему Содомский приносил скрипку, похожую на Бергонци или Винченцо Панормо. Вызвали Содомского, а он сидит и ухмыляется — показалось, мол, все это нашему почтенному мастеру. Ну, выгнали его отовсюду, вот он и стал заниматься распространением билетов.

Я подписал Дзасохову пропуск, в котором было написано: «Кисляев». Он встал, маленький, сухой, с дикой гривой волос, и я почему-то подумал, что он похож на торчмя поставленный помазок.

— А это, если вам понравилось, возьмите себе, — кивнул он на «Курочку-Рябу». — У меня еще есть.

— Спасибо, — сказал я.

— Э, ерунда, — махнул Дзасохов рукой. — До свидания.

ГЛАВА 3. „...ПЛОТЬЮ ЖИВОЙ ОН В МОГИЛУ ЖИВУЮ УХОДИТ“

Громче звоните, колокола! Громче! Пусть гром ваш пробудит этот сонный, ленивый город! Пусть звон ваш катится по улицам голосом счастья! Горите ярче, смоляные плошки, и пусть ввысь несут огонь петарды!

Трещат дубовых бочек донья, и льется алое джинцано. Иль, может, кьянти не хватает? Скажите — сегодня можно все и всем!

Сегодня, в последний день уходящего века, вдовец Антонио, старик Страдивари, пятидесятипятилетний мастер, вводит в дом новую жену — семнадцатилетнюю Марию Замбелли. И пусть смеются дураки и завистники, пусть говорят, что стар он и нашел красавицу другим на радость. Не властно время над великими, ибо живут они в настоящем, как усталый путник в задней комнате трактира, — их главная жизнь в будущем. И если к мастеру пришла любовь на склоне лет, значит, отсюда начинается его молодость, значит, мудрости его, согретою нежностью, суждено дать удивительно пышные плоды. Так думал Антонио Страдивари.

И Андреа Гварнери, бессильный, умирающий в нищей лачуге, сказал своему внуку Джузеппе:

— Страдивари — великий мастер. Но настоящее величие его впереди.

— Почему вы думаете так, синьор? — спросил Джузеппе, маленький даже для своих лет, тщедушный головастый мальчик с впалой грудью.

— Потому что он талант, — сказал дед, тяжело кашляя и сплевывая поминутно мокроту. — Потому что он любит свое дело больше всего на свете. Потому что он мудр и жаден, как сатана. Потому что ему очень везло всегда. Ему и с этой девочкой повезло.

— Я не понимаю вас, — сказал Джузеппе. — Отец говорит, что он перенял у своего учителя Амати дьявольское знание.

Андреа долго надсадно кашлял, потом засмеялся:

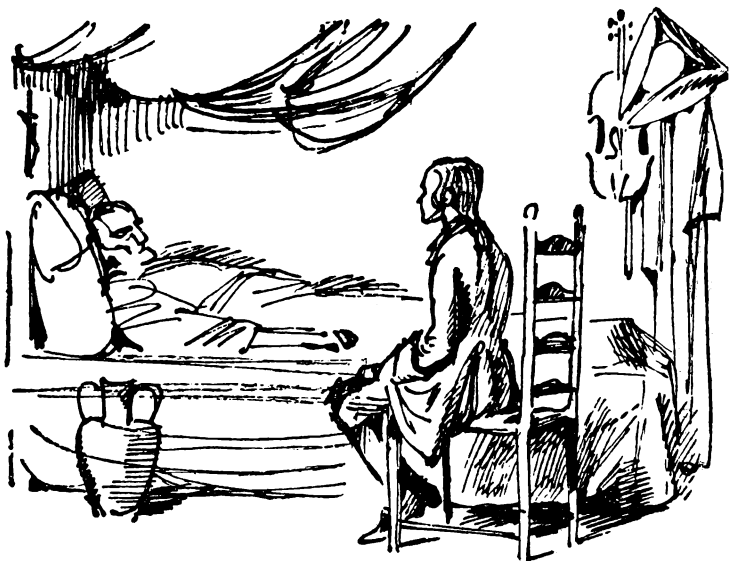
— Твой отец приходится мне сыном, и уж кому, как не мне, знать, что он трусливый и глупый человек. Не верь ему. Всю жизнь он всего боялся — бога, людей, трудностей, меня, а теперь, когда лупит тебя, начинает помаленьку бояться и сына. Если ты хочешь стать настоящим мастером, тебе надо уйти из дому.

— Как же я буду жить? Мне ведь только двенадцать лет, — спросил Джузеппе, и на глаза его навернулись слезы. — У меня кружится голова и теснит в груди, когда я поднимаюсь бегом по лестнице.

— Мальчик мой, поверь, что нет покоя и счастья в тихом, сытом убожестве. Ты можешь преодолеть свою немощь, только став больше самого себя.

— Разве человек может стать больше самого себя? — спросил с испугом Джузеппе.

— Может, — устало кивнул Андреа. — Я прожил глупую, беспутную жизнь, но сейчас нет смысла жалеть об этом. Одно



знаю я наверное — творенье рук и сердца человеческого делают его всемогущим, всесильным и бессмертным.

— Руки мои слабы, а сердце немо. Что могу я создать и оставить людям?

— Но слух твой тонок, а ум быстр и пытлив, и душа твоя исполнена добра. И если ты запомнишь, что для учебы нет дня завтрашнего, а есть только сегодня, и через десять лет ты будешь большим мастером и познаешь счастье свершений...

Джузеппе простер к деду тонкие, худые руки:

— Но вы не встаете с постели, и глаза ваши незрячи, а отец не хочет учить меня, он хочет отдать меня в монастырскую школу. Как могу я учиться и приблизить час свершений?

Андреа хрипло, с грудным присвистом засмеялся:

— Твой отец тебя ничему научить не может. Он плохой мастер. Пспомни слово мое: если ты послушаешься меня, то спустя время твой отец будет подражать тебе и жизнь его догорит под сенью твоей славы.

— Но кто же откроет мне путь истины и свершений? — спросил с горечью Джузеппе. — Ведь не станет же меня учить Страдивари?

— Нет, мой мальчик, не станет тебя учить этот большой мастер. Сейчас он не возьмет тебя, потому что ты мало знаешь и мало можешь...

— А если я подучусь? — с надеждой сказал мальчик.

Андреа покачал маленькой седой головой:

— Тем более. Тебе, Джузеппе, не повезло — у Страдивари выросли бездарные дети...

— Не понимаю, — удивленно раскрыл черные быстрые глаза мальчик.

— У тебя могла быть единственная возможность стать учеником синьора Антонио, если бы хоть один из его сыновей унаследовал талант отца. Тогда бы он не побоялся взять тебя в ученики, и с годами, в соперничестве, вы узнали бы, кто из вас лучший. Но Страдивари уже знает, что он сможет передать детям только свои записи и тайные средства мастерства — сами они ничего открыть не могут. А отдать свое знание молодому Гварнери не позволит ему сердце.

— Разве каждому, кто алчет, дано обрести клад? — с сомнением прищурился Джузеппе.

Андреа прикрыл тяжелые коричневатые веки, на лицо его легла печать томления и горечи, он еле слышно прошептал:

— Знание, мой мальчик, не клад и не дуэльный выигрыш, но обиталище духа твоего, и возвести его надлежит в труде тягостном и страстном...

Старик задремал, но мальчик положил ему на плечо руку и настойчиво спросил:

— Скажите, разве Страдивари мастер лучше вас?

Андреа Гварнери глаз не открыл, и только легкое дрожание век выдавало, что он не спит. Потом он разлепил бескровные губы:

— Да, Джузеппе, Страдивари мастер лучше меня.

— Но когда вы выпиваете фьяску кьянти, то кричите, что он жулик, а вы мастер от господ бога.

— Это не я кричу, — сказал Андреа, — это вино и глупость из меня кричат. Тебе долго жить надо, мой мальчик, и жизнь предстоит тебе нелегкая. Запомни навсегда: люди, для которых работает талант, не в силах оценить его по тому, что он мог бы сделать. Они судят всегда по тому, что он уже сделал. А теперь я устал и хочу спать. Оставь меня...

— Но вы не сказали, что мне делать? Как мне жить?

— Этого я не знаю. Хотя советую от души: завтра на рассвете в Мантию уходит дилижанс. Уговори кучера или беги пешком, но до Мантии доберись и разыщи мастера Джизальберти. Передай ему мою предсмертную просьбу — сделать из тебя человека. А лет через пять возвращайся и сходи поклонись Страдивари. Чем черт не шутит — может быть, он возьмет тебя. Никто ведь не знает своего будущего...

* * *

Содомский снял пальто, неодобрительно покосился на вешалку — вбитый в стену гвоздь — и спросил вежливо:

— Простите, у вас плечиков не найдется?

— Не найдется, — отрезала Лаврова. — Когда приходите в общественное место, надо снимать пальто в гардеробе.

— Истинная правда, — согласился Содомский. — Но когда приходишь в такое общественное место, из которого неизвестно куда пойдешь дальше, лучше, чтобы пальто было под рукой. Ха-ха, это я так шушу.

— Прекрасные у вас шутки, — покачала головой Лаврова. — Правда, в тех неизвестных местах, куда наши посетители иногда

отправляются, плечиков для пальто тоже не дают. Ха-ха, это я не шучу.

— Там это уже не страшно. Как говорится, бытие определяет сознание, — сказал Содомский и сбил щелчком какую-то несуществующую пылинку с лацкана хорошо отутюженного пиджака. — Кстати, я вас хотел спросить, если можно...

— Можно, — сухо ответила Лаврова.

— Вы не знаете случайно, в Нью-Йорке есть женщины — офицеры полиции?

— Есть. А что?

— Ай, жаль! Я-то думал, что это только наше социальное завоевание. Это же ведь подумать только — женщина, возвышенно-утонченное создание, ловит жуликов!

— Ну вот подумали только — и хватит. Назовите свое имя, отчество, фамилию, время и место рождения, род занятий...

Содомский прижал к полной груди короткопалые, пухлые ладошки:

— Пожалуйста! Меня зовут Александр Еремеевич Содомский. 1926 года рождения, образование — незаконченное высшее, место работы — Министерство культуры...

Лаврова оторвалась от анкетной части протокола, внимательно стала вглядываться в Содомского, и длилось это, наверное, не меньше минуты, пока тот не начал ерзать на стуле.

— Что? — спросил он на всякий случай.

— Скажите, это не вы председатель репертуарной коллегии? — серьезно спросила Лаврова.

— Нет, у меня работа организационного типа.

— А точнее? — настырно интересовалась Лаврова.

Содомский помялся, потом невыразительно забормотал:

— Я старший распространитель Центральной театрально-концертной кассы. Кстати, вы не хотите завтра сходить в театр на Таганку? Идет пьеса Дина Рида, желающие записываются за месяц вперед. Очень способный автор — раньше он был лабук, пел песни, а теперь вдруг написал пьесу, и — представьте себе — бешеный успех...

Я быстро загородился газетой, а Лаврова не выдержала и в голос захохотала. Содомский на всякий случай тоже захихикал, настороженно спросил:

— А что такое?

— Да нет, ничего... Скажите мне, давно ли вы работаете распространителем? И при каких обстоятельствах вы попали на это место?

— О, я работаю так много лет, что точную дату вспомнить трудно. А попал обычно — пришел в отдел кадров, и меня приняли.

— Кем вы работали до этого?

— Я был концертным администратором в филармонии.

— Почему вы сменили работу?

— Здоровье, плохое здоровье — вот единственная причина.

— А с кем из исполнителей-солистов вы работали?

— Со мной работали многие. Можно так и записать — ряд видных советских музыкантов.

Лаврова усмехнулась и спросила:

— А Иконников с вами работал?

— Конечно. Он тоже в свое время был неплохим скрипачом, но что-то ему не повезло. У него был очень плохой характер.

— Почему вы расстались с Иконниковым?

— Мы не могли сработать. Я же вам говорю — у него был склочный характер, и, как все недотянувшие вожжи и гении, он страдал манией подозрительности.

— Поясните следствию эпизод с пропажей скрипки из репетиционного фонда.

Содомский закатил вверх свои бледно-голубые, почти белые глаза, потер рукой лоб, старательно изображая мучительное воспоминание.

— С какой скрипкой? — Он явно тянул время, обдумывая позицию.

— Первой трети восемнадцатого века, предположительный автор — Бергонци или Винченцо Панормо. Взята вами на имя Иконникова. И якобы утеряна в троллейбусе.

— А-а! Вот вы о чем! Значит, вы тоже слышали об этой чепухе? Это был такой же Бергонци, как я Дин Рид.

— Следствие располагает заявлением скрипичного мастера Батищева.

— Давайте я вам напишу заявление, что позавчера видел на жене Батищева алмаз «Орлов». Тогда следствие будет располагать и такими сведениями.

— Это называется ложный донос, — сказала Лаврова. — И к следственным сведениям не имеет отношения.

Ах досадно! Здесь Лаврова допустила явную промашку, и сейчас Содомский ее за это накажет. Он тихо засмеялся и сказал почтительно:

— Если мне будет позволено, замечу, что вы сильно увлеклись. Пока что скрипичный мастер Батищев и распространитель билетов Содомский, сидя на этом стульчике, юридически совершенно равноправны: оба они достойные, ничем не скомпрометированные граждане. И не простые, а советские, то есть обладающие всеми гарантиями их безопасности, чести и достоинства. Пока вы не докажете, что я, наоборот, плохой гражданин. А это вам, может, удастся, когда рак на горе свистнет.

— Ну а фальшивые золотые монетки вас не скомпрометируют? — спросила Лаврова, и это было тактическое отступление, перегруппировка сил на ходу.

— Нет, — уверенно сказал Содомский. — Я уже слышал, что этот дурак Дзасохов распространяет про меня порочающие слухи. Но на чужой роток не накинешь платок. Дурак, он и есть дурак. К тому же типичный образец жулика-неудачника. Я бы ни сколько не удивился, если бы узнал, что это он украл у Полякова скрипку.

— Почему?

— Потому что умный жулик отличается от глупого тем, что берет не то, что плохо лежит, а то, что можно украсть без всякого риска. А скрипка эта будет в розыске хоть сто лет — до тех пор, пока кто-то с ней не попадется...

— Конечно, она ведь не лежала грязная, безымянная, всеми забытая в кладовке репетиционного фонда, — ухмыльнулась зло Лаврова.

— Ну если вам удобнее думать так, то можно и такой пример привести, — откровенно нагло сказал Содомский.

— А что вы делали в ночь, когда произошла кража скрипки?

— Позвольте узнать, когда произошла кража?

— В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое октября.

— Я в эту ночь спал у себя дома.

— Кто-нибудь может это подтвердить?

Содомский засмеялся:

— А это и не надо подтверждать. Если я вам говорю, что спал у себя дома — значит это так. А если у вас есть сомнения в этом, то вы докажете, что я, наоборот, дома не спал и занимался чем-то другим. Вот вы мне скажите — за время расследования хотя бы этого дела, кого вы больше встретили, — хороших людей или плохих?

— Плохих, — ответила Лаврова.

— Ну! А я что говорю? — обрадовался Содомский.

— Ерунду! — отрезала Лаврова. — Если бы я искала не скрипку «страдивари», а утраченный манускрипт и при этом не была инспектором уголовного розыска Лавровой, а называлась профессором филологии Ираклием Андрониковым, то я бы встретила наверняка множество прекрасных, добрых, умных и честных людей. Но я ищу украденную, слышите — украденную! — вещь и потому должна слушать ваши сомнительные откровения, вместо того чтобы в это время поговорить с каким-нибудь приятным и умным человеком.

— Значит, я человек неприятный? — спросил Содомский.

— Вы уж простите меня за откровенность, но вспоминать о вас с особым удовольствием я не стану.

Содомский довольно засмеялся:

— Как говорится, насильно мил не будешь. Но что толку в приятности? Самый приятный человек, которого я знаю, — это Гришка Белаш. Он действительно хороший парень. Но я уверен, что и у него какая-то гадость в биографии имеется.

— Почему вы так думаете? — сердито спросила Лаврова.

— Не знаю, так мне кажется. Кроме того, не стал бы он за просто так с Иконниковым нянчиться. Я думаю, у них какие-то делишки были...

Нет, это было не случайное сравнение, это был не просто подвернувшийся аргумент в споре. Такая фраза — это заявление. Пора было вмешиваться мне. Но Содомский сам неожиданно повернулся на стуле в мою сторону и сказал:

— Если я не ошибаюсь, вы инспектор Тихонов?

— Вы не ошибаетесь, Содомский. Я инспектор Тихонов, — кивнул я и учтиво добавил: — Столь широкая популярность среди распространителей театральных билетов мне льстит. Но, помнится, нас друг другу никто не представлял.

Содомский прищурился:

— Как вы понимаете, в одном замкнутом круге не может быть разговоров о человеке, который трясет по очереди всю музыкальную общественность в связи с кражей «страдивари». И даже если бы я был более приятным и менее умным, то мог бы сообразить, что мужчина, который во время допроса сидит в кабинете, смотрит в газету и слушает каждое мое слово, должен быть Тихонов. Так как, я вам понравился?

— Вы мне понравились, — заверил я. — А то, что вы не понравились инспектору Лавровой, пусть вас не огорчает — это ведь дело вкуса. Поэтому лучше скажите мне вот что: вы твердо уверены, что похищенная у вас в троллейбусе скрипка не имеет исторической ценности?

— Абсолютно.

— И по-прежнему утверждаете, что мастеру Батищеву ее не показывали?

— Утверждаю. Он меня с кем-то перепутал. А я никакого Бергонци в глаза не видел! И Винченцо Панормо не видел! И вообще я никогда не нарушал законов! Я всегда был готов прийти на помощь милиции, если это только требовалось!

— Я надеюсь, что милиции ваши услуги никогда не требовались, — сказал я. — А что вы сказали насчет Иконникова и Белаша?

— Ничего я не говорил! Ничего я не знаю! Я просто сказал, что Гришка очень сильный человек — не каждый найдет в себе силы вернуться в жизнь из помойки...

— В каком смысле? — спросил я.

— Человек, который в семнадцать лет был лауреатом скрипичного конкурса, мог иметь в жизни все, а он... — Содомский замолчал и махнул рукой.

— Кто — Иконников? — спросила Лаврова.

— При чем здесь Иконников? — раздраженно сказал Содомский. — Я говорю про Белаша!

— Белаш был лауреатом? — медленно, как во сне, сказала Лаврова.

— Конечно! А вы что, не знали? — удивился Содомский. — А еще «страдивари» хотите найти!

— Найдем! — почти крикнула Лаврова. — И «бергонци» найдем! Давайте ваш пропуск, я подпишу вам на выход.

Содомский в дверях надел свой «пирожок» и сказал:

— Честь имею кланяться!

И в голубеньких каплях его глаз, упавших льдинками на раскаленную плиту красной рожи, бушевало веселое злорадство.

С утра Белаш работал в Большом театре, поэтому он предложил встретиться где-нибудь в центре. Он сказал:

— Давайте в два часа в кафе «Арарат». Сэкономим время: поговорим и заодно пообедаем.

Я опоздал минут на пять и, когда вошел в зал, Белаш уже сидел в уютном уголке за столом. Он был, как всегда, элегантен, но выглядел неважно — какая-то тусклая, тягучая тоска застыла у него в глазах. Он встал мне навстречу, замахал руками, и мне показалось почему-то, что он рад нашей встрече.

— Я думаю, что мы теперь до конца жизни будем встречаться, говорить об Иконникове и Полякове, строить гипотезы, кто мог украсть скрипку, и вообще, наша жизнь теперь потечет параллельно, — сказал улыбаясь Белаш.

— Все возможно, — охотно подтвердил я. — Что будем есть?

— Сейчас узнаем.

Подошла официантка, немолодая, степенная, полная женщина, которую я помню еще со студенческих пор, потому что «Арарат»

всегда пользовался у нас наибольшей популярностью — здесь дешево и вкусно кормили.

— Здравствуйте, — сказала официантка. — У нас сегодня есть форель.

— Вот и прекрасно, — обрадовался Белаш. — Дайте нам с белым соусом.

— Сыр чанах и бастурму, — попросил я. — Кофе с белками.

— Присоединяюсь. Еще чебуреки. — И спросил у меня: — Вина выпьем?

Я равнодушно пожал плечами.

— Бутылку розового «Гарни», — сказал Белаш официантке.

Она с достоинством, присущим всем восточным женщинам, поклонилась и ушла.

— Какие-нибудь новости есть? — повернулся ко мне Белаш.

— Есть. Я хотел с вами, Григорий Петрович, поговорить о Содомском и о вас.

— Обо мне? — удивился Белаш. — В жизни не имел с этим прохвостом никаких дел.

— Вы меня не так поняли, Григорий Петрович. Я вчера допрашивал Содомского, и он разговорился о вас. Он сказал, что вы раньше были скрипачом.

— Вот тварь! — сказал с досадой Белаш, и по лицу его скользнуло отражение мгновенной мучительной внутренней боли. — А больше он ничего обо мне не сказал?

— Нет, ничего.

— Ладно, все остальное я вам сам расскажу.

Официантка принесла вино, минеральную воду, плоский армянский хлеб. Белаш налил «Гарни» в бокалы, подвинул ко мне воду, сказал:

— Давайте выпьем пока. За встречу. Будьте здоровы, — кинул в себя вино, отщипнул корочку хлеба, стал не спеша жевать.

Я тоже выпил.

— Значит, так, — сказал Белаш. — Должен начать свою исповедь с добровольного признания в противозаконном умысле. Вы помните, как мы составляли список людей, имеющих отношение к Иконникову и Полякову? Вот тогда еще, прекрасно помня, что Содомский хорошо знал и того и другого, я испытывал острое желание не говорить вам о нем, потому что мерзавец он исключительный. И рассказать о моей блестящей скрипичной карьере должен был именно он. Я это чувствовал, но в последний момент решил его назвать, чтобы не осталось между нами каких-то неясных вопросов. Говорить мне об этом, конечно, мучительно, но ничего не попишешь...

— Если вы мне дадите слово, что это не имеет отношения к делу, я с удовольствием освобожу вас от такой необходимости, — сказал я.

— Нет уж, давайте расставим все точки над «i», чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Дело в том, что в свое время я не совсем точно ответил на ваш вопрос о том, что связывает меня с Иконниковым. Помимо нашей дружбы, он был моим наставником.

— В каком смысле? — уточнил я.

— В прямом. В скрипичном.

Официантка расставила на столе закуски. Белаш дождался, пока она ушла, и сказал:

— Когдамотришь в видеоманитофонной записи матч, то хотя тебе давно известен результат игры и знаешь, что игра проиграна раз и навсегда и все уже решено, ничего измениться не может, все же каждый раз, когда у ворот противника создается острая ситуация, начинаешь метаться и переживать в нелепой надежде, что сейчас забьют гол, который изменит окончательный итог. Но этого никогда не случается, потому что чудес не бывает.

Мы помолчали, и я никак не мог прийти в себя — так неожиданно для меня было признание Белаша. Он придвинул к себе сыр, оторвал от длинного ломтя хлеба кусок, и я вспомнил, как Иконников сказал мне: «Мы преломили хлеб...»

— Это было все ужасно давно, как в другой жизни, — сказал Белаш, и я снова вспомнил, что слышал эти слова от Иконникова. — Говорят, что я был очень способным парнем. Иконников хотел, чтобы я сделал то, чего не смог сделать он.

— Никто не знал, что он ваш педагог? — спросил я.

— Знали очень немногие. Иконников хотел, чтобы все думали, будто он покончил с музыкой навсегда. Не могу этого утверждать, но допускаю, что он рассчитывал эффектно выйти из-за кулис в день моего большого триумфа. А официально я учился в музыкальной школе и готовился поступить в консерваторию.

— И что?

— Ничего, в самом полном смысле этого слова. Я сломал руку — открытый двойной перелом. — Он мучительно сморщился, и мне показалось на мгновение, что в его глазах закипела злая тоскливая слеза. — Через три месяца кости срослись и практическая трудоспособность восстановилась полностью. Только вот с контрактурой мышц левой руки на скрипке не поиграешь. С идеей большого триумфа пришлось расстаться навсегда...

— А Иконников?

— Не спрашивайте! — махнул рукой Белаш. — После краха его карьеры мое несчастье для него было самым страшным ударом в жизни. Для него это был конец. Он-то лучше всех понимал, что моя травма необратима, и все-таки последним смирился с этим. Он и сделал меня настройщиком такого класса, когда понял, что со скрипкой покончено. Вот с тех пор и пошла моя благополучная, безбедная и спокойная жизнь при музыке...

Пустым, ничего не выражающим взглядом смотрел мимо меня Белаш в стену, разрисованную, ярко освещенную, и на этой стене с внутренним объемом были нарисованы снежные горы, палящее солнце, сады, пашни, люди, у горизонта шел косой синий дождь, поднимались клочьями дымящиеся фиолетовые облака, неспешно катила по дороге арба — все там было на этой цветной, умело освещенной стене-декорации, и все это было настоящее, потому что там не было, да и не могло быть человеческого горя и разочарований, совсем неуместных в стене-диораме, создающей в кафе иллюзию беззаботного пикника на свежем воздухе.

Белаш помолчал, поднял голову, невыразительно сказал:

— Раньше было тяжело. А сейчас — ничего, привык. Я ду-

маю, мне такая судьба была уготована. Это же ведь надо — перелом руки! Для всех людей это просто житейская неприятность, а для меня — вся жизнь коту под хвост. Глупо ужасно! Великий скрипач Флитцер был слеп, у Кароля Липиньского была жестокая чахотка, но играть-то они могли!

— Да, несладко вам досталось, — сказал я. Да и что еще я мог сказать?

Белаш грустно усмехнулся.

— Иконников старался меня утешить тем, что композитор Люлли и вовсе умер от заражения крови, поранив себе ногу дирижерской батутой...

— Иконников был добрый человек? — спросил я.

— Добрый? — переспросил Белаш. — Нет, он не был добрым человеком. Но в нем была какая-то непохожесть на всех остальных. Он это знал и старательно поддерживал ее. Он часто говорил, что в людях заметно иступленное стремление к стандартам, к универсальности характеров, желание все разбить на понятные, доступные, удобные в потреблении категории, и что с этими стандартами они расстанутся всего неохотнее.

— Он говорил об этом применительно к профессиональной сфере или вообще о поведении людей? — поинтересовался я.

— Иконников говорил это о людях вообще, а поскольку общался с ними мало, то примеры черпал из профессиональной сферы.

— Например?

— Ну вот он любил рассуждать о том, что имя Родольфо Крейцера известно благодаря великой сонате, посвященной ему Бетховеном. А Крейцер эту сонату не понимал, играл ее примитивно, трусливо, убого. В то же время мало кто знает, что сорок два этюда Крейцера до сих пор являются обязательной азбукой любого скрипача всех скрипичных школ мира, что без них немислимо скрипичное искусство и они обессмертили его имя, что заштатные скрипачи и всемирно знаменитые виртуозы именно на них оттачивали технику и мастерство.

Молча мы выпили кофе. Белаш равнодушно и тоскливо смотрел в ярко освещенную стену. Устало сказал:

— Настроение у меня паршивое. Почему-то все последнее время преследует воспоминание: незадолго до смерти Иконников со своими обычными ерническими шутками прочитал мне стихи Лукреция Кара. Я уж все не помню, но одна строка о человеке, которого живьем пожирает зверь, мне врезалась в память — «...плотью живой он в могилу живую уходит». Почему он прочитал тогда эти стихи? Как вы думаете, почему?

— Наверное, он уже догадался, что его пожирает Минотавр, — сказал я негромко.

— Минотавр? — не понял Белаш.

Я молча кивнул. Белаш провел тонкой нервной ладонью по лицу и сказал растерянно:

— Может быть. Может быть. В жизни все может быть...

Вечером мы сидели с Поляковым в его кабинете, там, где впервые встретились, и он помертвелыми губами еле слышно спросил: «Скрипка... моя скрипка?»

А сейчас он не спрашивал о скрипке, потому что понимал: будь у меня какие-нибудь радостные новости, я бы сам рассказал. Но мне порадовать его было нечем. И о чем бы мы ни говорили, этот невысказанный вопрос и неполученный ответ угнетали нас обоих. На столе лежал открытый футляр с темной скрипкой, на которой мне однажды играл Поляков.

— Вильом был талантливым мастером? — спросил я.

Поляков удивленно взглянул на меня.

— Конечно! Это был бесконечно одаренный человек. А что?

— Нет, это я просто так, для себя спросил. Мне непонятно, почему он не получил соответствующего признания.

Поляков быстро прошел через кабинет, вынул из футляра скрипку и показал мне:

— Взгляните — этот инструмент поразительно похож на скрипку Страдивари «Император», которая принадлежала Яну Кубелику. Но она только похожа! Воспроизвести точно оригиналы старых итальянских мастеров невозможно.

— Почему? Ведь нет ничего непознаваемого, и если нельзя придумать своего, то Вильом же мог скопировать инструмент, имея под руками оригинал. Ведь это же только дерево?

Поляков улыбнулся и покачал головой:

— Не-ет! Вильом — это рассудительное деловое спокойствие. Я думаю, что он не провел над своими скрипками ни одной бессонной ночи. А старые итальянцы знали много тайных средств и секретов не выдавали никому. Чтобы понять эти тайны, Вильому надо было много-много ночей не спать, плакать от отчаяния и счастья, безумствовать и страдать. Тогда он открыл бы тайные пружины старинного мастерства.

— Тогда ему не надо было бы копировать чужие инструменты, он был бы тогда сам по себе Вильом, — сказал я.

— Вот это я и имею в виду, — выбросил ко мне свои худые, острые руки Поляков. — Но он был человек другого склада. Его вполне устраивала безбедная, сытая жизнь рядом с алчущими талантами Страдивари и Гварнери.

И удивленно, с очевидным непониманием пожал плечами:

— Просто ума не приложу, как такой талантище мог этим довольствоваться!

— А специалисты тоже ошибались в определении инструментов? — спросил я.

— В те времена достаточно часто. Смешно сказать, но Вильом на многие годы с коммерческой точки зрения обесценил скрипки великого Штайнера. Считанные люди могли различить их инструменты. Со временем, правда, все стало на свои места.

— Чем же все-таки отличались скрипки?

— Звуком. Звук старых скрипок неповторим. Как человеческий голос. Под него можно подделаться, и очень похоже воспроизвести, но никогда нельзя получить абсолютного сходства. И Вильом не смог повторить старых голосов, потому что ему не хватило — как бы это точнее сказать? — ну, немного безрассудности, что ли... И собственного голоса — одного, главного, который от сердца идет, — тоже не нашел...

— Разве безрассудность — это тоже добродетель таланта?

Поляков уселся в глубокое кресло, он почти весь исчез в нем, только худые локти и колени торчали, и оттуда, как из

крепости, чтобы не встречаться со мной глазами, негромко сказал:

— Талант в работе всегда должен быть безрассуден. Иначе он ничего не сделает... Говорят, Страдивари очень любил свою мастерскую, провел в ней долгие десятилетия, сделав около полутора тысяч инструментов, и завещал потомкам беречь ее, как память о его работе. Она сохранилась до сих пор, и, будучи в Кремоне, я заходил туда.

— Там музей сейчас?

— Нет, в его доме гостиница, а в мастерской — бильярдная. На петли, в которых Страдивари сушил свои скрипки, посетители вешают потные пиджаки...

На экране телевизора, который работал с выключенным звуком, появилась заставка — «Музыкальные встречи». Медленно, как из глубины вод, всплыло лицо молодой красивой женщины и по отчетливо-короткому движению ее тонко очерченных губ я прочитал: «Здравствуйте, товарищи». Она говорила что-то, и лицо у нее веселое было, радостное, беззаботное; и хотя я не знаю, что именно она говорила, как-то не вязалось выражение ее лица с воспроизведенным сразу же за ней портретом Бетховена, с нахмуренными его бровями, страдальческими глазами и сжатыми в муке губами, сквозь которые не могла прорваться мольба-стон-воплъ: «Говорите громче, кричите! Я глух!»

Поляков встал, подошел к телевизору, повернул ручку, и в комнату плеснулся бодрый женский голос — «...осталось одним из самых жизнеутверждающих произведений великого композитора».

А потом в комнате оказались два Полякова — один напряженный, замерший рядом со мной в кресле в какой-то неестественно прямой позе, скованный до бессилия волнением и ожиданием того, что уже произошло, взволнованный строгий экзменатор того Полякова, что вошел в комнату с телевизионного экрана — Полякова собранного, сильного, уверенного в каждом микроскопическом движении, и до меня только сейчас дошел тот громадный смысл, которым было исполнено все происходящее сейчас, — человек будет судить самого себя, потому что живой Поляков, вот тот, что сидит рядом со мной, был на встрече с Поляковым телевизионным, он пришел на встречу со своим «вчера».

Поляков на экране приложил скрипку к щеке, поднял смычок, и я увидел, что живой Поляков судорожно сжал пальцами спинку стула.

И смычок пал на струны...

Возглас страдания, протяжный и полный боли, невысказанной и тяжелой, которую испытать дано только сильным людям, промчался и стих, и ему ответило фортепьяно, успокаивающе и нежно. И снова закричала скрипка — резко, сильно, и в крике этом были гнев и протест...

Звуки летели стремительные, быстрые, полные смысла и чувства, и я не знаю, какое толкование можно было дать сонате № 9, посвященной Родольфо Крейцеру, который не понимал ее и упрощал самые трудные и значительные места, но я слышал в ней яростное дыхание, рывок и легкий вздох — это был побег к свету, это был побег от своей немощи к счастью, и в

этом счастье была свобода — солнце, свет, покой свершения, и негодование от своей слабости, и уверенность в завтрашней своей силе, здесь были бессонные ночи, и в них не было лун, а только стенания поиска, сомнения и испуг первого открытия, и звенящий ритм зачеркивал слово «смерть», потому что в звуках полно радостного и трудного безумства, которое, оказывается, так нужно таланту. А что еще нужно таланту? Терпение, любовь и удача, и сила физическая, и еще нужно таланту все, что остальным людям нужно...

Поляков на экране работал. Он тяжело работал; и не было, мне кажется, в нем никакой легкости, а был тяжелый, изнурительный труд, который рождал все эти бегучие, быстрые, легкие, такие точные звуки; и я почему-то верил, что он ничего не упрощал; и, не зная нотной грамоты, я был твердо уверен, что играет он не трусливо, а смело и сильно — так яростно, так отчаянно он работал. Он смотрел на смычок, прислушивался внимательно, как будто это не он играл, а кто-то другой, или вроде он уже как сейчас сидел дома, так внимательно и нервно он вслушивался в каждый звук; и я видел, что в наиболее трудных местах его мучительно кривилось, он прикусывал губы, а потом вытягивал их вперед и чуть вниз, будто губами и зубами, всей волей своей и силой хотел дотянуть нужный звук до нужного уровня, формы, акцента. Он поддевал струну ногтем, и будто серебряные капли летели на пол, а он все вслушивался внимательно, чтобы, не дай бог, не перелить хоть одной капли этой волшебной влаги, будто одна капля, один звук могут все и навсегда непоправимо испортить. Пальцы левой руки, невесомые, носились по струнам; и не верилось, что это он сам нажимает ими на струны с раз и навсегда отмеренным усилием — казалось, что струны сами в нужный момент прожимаются и подбрасывают пальцы вверх. Океан звуков бушевал, и конец такой буре прийти не мог.

А Поляков, тот, что сидел рядом на расстоянии одного метра, не смотрел на экран. Он сидел, закрыв глаза, откинувшись на стуле, и сосредоточенно судил себя вчерашнего. И когда эта лавина все-таки иссякла, я так и не понял, принял Поляков сегодняшний того, телевизионного, вчерашнего Полякова, или были у него оговорки, или сегодня он вообще сыграл бы по-другому, потому что он встал, походил в задумчивости по кабинету и неожиданно сказал:

— А все-таки Паша играл это интереснее...

Мы помолчали, и я наконец задал вопрос, из-за которого пришел сегодня к Полякову и случайно увидел его в двух временах.

— Лев Осипович, вы давно знаете Белаша?

— Гришу? И не упомню даже — так давно. Наверное, с молодежного конкурса. Лет пятнадцать-двадцать, наверное, прошло.

— Семнадцать, — уточнил я. — А вы слышали его на конкурсе?

— Да, конечно, я был председателем жюри. — Поляков ответил коротко, и мне показалось, что он не хочет углубляться в этот вопрос. Но я пришел за ответом именно на этот вопрос и уйти, не досказав всего, не мог.

— Как вам показалась его игра?

Поляков ответил уклончиво:

— Он показался мне очень способным мальчиком. Деталей я уже не помню, прошло ведь так много лет.

Он явно не хотел входить в подробности; и хоть я заметил, что мое присутствие начало тяготить его, продолжал настойчиво задавать вопросы:

— А какие отношения их связывали с Иконниковым?

Поляков начал сердиться: ему, очевидно, не хотелось вдаваться снова в воспоминания:

— Нормальные, приятельские отношения у них были. Я не знаю деталей. Да и вообще, какое это все имеет значение сейчас, когда...

Он не договорил «когда Иконников умер», но эта невысказанная фраза повисла между нами.

— Имеет, — сказал я. — И вы это знаете.

— Почему я должен знать об этом? — вяло возразил Поляков. — К сожалению, я много лет не общался с Павлом Петровичем.

— И вы полагаете, что их отношения не выходили за дружеские рамки?

Поляков поднял на меня свои усталые грустные глаза, смотрел долго, внимательно, потом сказал:

— Да, да, да. Я знаю, что Иконников был учителем Белаша, И что?

— Вы об этом узнали от Белаша?

— Да.

— Он рассказал вам?

— Нет, он сыграл. Я же слышал его на конкурсе...

Я замешкался на мгновение, и Поляков сказал:

— Неужели вы думаете, что я мог не узнать этой манеры? Мы ведь с Пашей выросли вместе. Белаш играл концерт Прокофьева, это была любимая вещь Паши, и я сразу узнал его голос, почерк, его широкую, размашистую манеру.

— Не случись с Белашом несчастья, он стал бы, с вашей точки зрения, большим музыкантом? — спросил я.

— Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо уговориться о масштабе слова «большой». Вильом был тоже большой мастер.

— Существуют же общепринятые критерии исполнительского мастерства? Ну хотя бы с обывательской точки зрения?

— С обывательской, думаю, мог бы. Но он ни разу не вышел за те рамки, что начертил Иконников в концерте Прокофьева. Мне показалось удивительной рассудочная холодность молодого скрипача в исполнении такого взволнованного концерта...

Катились дни, наступила зима, а мы с Лавровой методично, по графику, составленному после долгих препирательств, разыскивали людей — на работе, дома, в антракте между гастроллями и киносъемками, на дачах, а с одним генералом мне пришлось разговаривать во время танковых учений, — и список становился все меньше, а тома уголовного дела все росли, и никак нам не удавалось достичь той точки, через которую прошла жизнен-

ная кривая, соединившая в последний раз Полякова и Иконникова.

В ночь с 15 на 16 октября:

Настройщик Белаш находился в командировке в Ленинграде...

Скрипач Казаринов давал концерт в Цюрихе...

Дирижер Станиловский подводил результаты конкурса в Минске...

Концертмейстер Штук был болен воспалением легких...

Шофер Симоненко ночевал у Полякова на даче...

Член редколлегии Валяев подписывал газету в свет...

Скрипичный мастер Батищев отдыхал с женой в Эссентуках...

Режиссер Александровский проводил с труппой разбор премьеры...

Генерал Лукьяненко командовал на ночных учениях...

Эксперт-антиквар Самончиков праздновал свадьбу своей дочери...

Профессор Кандель выводил из клинической смерти попавшего под машину мальчика...

Гроссмейстер Горст со своим тренером разбирал отложенную в безнадежном положении партию...

Композитор Шевкунов принимал у себя гостей...

Виолончелист Шахназарян был в гостях у композитора Шевкунова...

Писатель Кларов в связи с нелетной погодой дожидался всю ночь вылета в аэропорту «Внуково»...

А остальные спали. У себя дома, как и полагается нормальным людям. Спят люди по ночам. Эту привычку — спать по ночам — они завели довольно давно, и не надо им никакого алиби доказывать, коли они спят у себя дома, в своей постели. Имеют право. И я бесновался на себя самого оттого, что человек говорил мне, глядя в глаза искренне и спокойно: «Спал я», и это естественное и необходимое ночью занятие — спать, вызывало у меня досаду и подозрение, потому что оставляло оно между нами завесу неизвестности, сторожкой и сумеречной, неверной, как сам человеческий сон.

Ни одного из этих людей Мельник по фотографиям не опознал. Но ведь кто-то же из них не спал! Кто-то только сказал мне, что спал, а сам ночью украл скрипку Страдивари! Если бы только был жив Иконников! С его помощью я вышел бы на человека, который украл скрипку. Но Иконников сильно устал, и не было в его сердце покоя, о котором он говорил мне, и одно только небо, и тихая осень, и весь прекрасный невероятный мир вокруг не могут дать покоя, если около тебя нет людей, и нет их тепла, их признательности, хоть капельки самой обычной человеческой любви...

И поэтому я не мог узнать, кто не спал из девяти человек, которых мы очень вежливо допросили, извинились и отпустили домой:

Профессора психиатрии Богомолова.

Инструктора трудового обучения Общества глухих Кисляева.

Скрипача Хорошилова.

Знаменитого иллюзиониста Коона.
Балетмейстера Махмудбекова.
Распространителя театральных билетов Содомского.
Известного адвоката Рудмана.
Художника Полозова.
Пианиста Виноградова.

Отпустили, хотя я наверняка знал, что одного из них мы отпустили зря — он ведь не спал. То, что было для всех естественно и не требовало никаких дополнительных вопросов — спать ночью дома, у себя в постели, он превратил в юридическую категорию — алиби. И опровергнуть это алиби я был не в силах. Существует разумный предел возможностей, и я остановился перед ним, потому что дальше начинался абсурд, чудовищная суетливость всеобщего подозрения, а это было глупо и бесполезно. В пасьянсе с девятью наглухо заклеенными картами нельзя было рассчитывать на успех. И даже если бы я умел гадать, то сложившаяся ситуация напоминала мне обычную человеческую ладонь, на которую нанесли все линии и складки рук прошедших передо мной людей, и в этой сумятице перепутавшихся маршрутов жизни, любви, удачи, характеров и долголетия не разобрался бы ни один хиромант.

В детстве мне подарили книжку «Морозко». Это была книжка-фокус: к ней придавались слюдяные очки двух цветов — красные и синие. Посмотришь через красную слюду на растекшуюся кляксу неразборчивой иллюстрации — и, как в волшебном фонаре, проступает картина: Морозко наряжает падчерицу в шубу соболю. Посмотришь через синюю на этот же рисунок — совсем уже заморозил, уморил Морозко злую и ленивую дочку. Помню, что я часами рассматривал эти непонятные рисунки без очков, пытаюсь разглядеть уже знакомые сюжеты в цветовом хаосе иллюстрации-фокуса, но все было перемешано, спутано, искорежено, и доброе, ласковое лицо падчерицы почему-торосло из скрюченного, окаменевшего туловища дочки. И когда я приходил в отчаяние, не в силах разобрать доброе и злое, красивое и уродливое, на помощь приходили удивительные двухцветные очки.

Но сейчас очков у меня не было...

Их должны были заменить опыт, интуиция и потребность, ставшая частью моей жизни, пройти лабиринт до конца. В долгие ночные часы, когда меня мучили бессонница и тупая, вязкая тишина, я пытался понять незримую связь времен и поступков, которые сплелись в громадную сеть длиною в сорок лет; и в этой сети были колокола судьбы, муки работы и поиска, сладость славы, боязнь Ледовой дороги, укрощение голубого крайта, сотни встреч, грусть уходящих дружб, горький осадок озлобления. Потом туда неслышно забрался Минотавр и начал бешено комкать, спутывать, наворачивать на себя эту сеть, стягивая ее хищными яростными рывками — и взбаламутились, перемешались годы, чувства, люди. Ушли на дно, опустились привязанность, память, уважение, любовь — по ним бегали в сапогах и топтались толстыми подметками с шипами какие-то люди, они хватали руками память, тискали и мяли привязанность, ковыряли пальцами уважение, поддевали для верности ногтем любовь — и на поверхность пошла пена: зло, усталость,

зависть, страх, обида. В безмолвии и протокольной тишине все бурлило и клокотало, и вновь оглушительно гремели немые колокола судьбы, но их никто не слышал, потому что все ловили бесшумного взбесившегося Минотавра. И старая, очень старая — она сплеталась более сорока лет — сеть времен и поступков не выдержала. С треском разлетелась она на крошечные клочки, и трудно, просто невозможно было связать вновь из этих обрывков человеческих страстей тот громадный мир дружбы, соперничества и неприязни, который связывал когда-то всех этих людей. Сеть перестала существовать, и Минотавр, целый и невредимый, ушел к себе, в свои темные глубокие закоулки.

И отступить сейчас совсем от этого дела я не мог — существуют вещи, которые человек сам себе простить не может. Ведь это я бегал по старой сети в поисках Минотавра, я топтал ее, рвал, тискал, мял, залезал руками в душу по самым локоть, и простить себе этого я не имел права, потому что Минотавр знал — придет ловец, и эта сеть будет на него. Пришел я — и сеть была уничтожена в прах...

Иконников умер, и больше ни у кого не было нужды, желания да и возможности вновь связать эту сеть. Но в часы бессонницы я понял окончательно и бесповоротно, что связать силок, западню для Минотавра мне удастся только из обрывков нитей памяти и чувств, которые унесли с собой люди из разорвавшейся навсегда сети длиной в сорок лет и шириной в два таких непохожих человеческих таланта...

ГЛАВА 4. У ЛЮДЕЙ ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ

Паоло Страдивари, много лет назад убежавший в Америку, не погиб на зыбких морских дорогах, не умер от лихорадки в бразильских джунглях и не был повешен корсарами на рее взятого на abordаж галиона.

Он приехал в Кремону — красивый, загорелый, обветренный. Хозяином пяти собственных кораблей и счета в «Банко commerciale ди Наполи». Негоциант Паоло Страдивари, открытый кредит во всех английских и ганзейских торговых домах. И сейчас с усмешкой смотрел на отца.

— Как видишь, ты был не прав...

Отец пожал плечами, упорно глядя в сторону.

— Хорошо, допустим, ты отверг меня и Джузеппе, потому что мы сами распорядились своей жизнью. Но Франческо и Омобони ведь не нарушили твоей воли — разве стали они прославленными мастерами? Разве они стоят чего-то без твоей славы и богатства?

Паоло говорил спокойно, не стесняясь присутствия младших братьев, как говорят богатые, уверенные в себе люди. Франческо и Омобони сидели тихо, не поднимая глаз от пола. Джузеппе быстро перебирал сухими белыми пальцами четки.

Антонио посмотрел на Паоло затуманенными прищуренными глазами, будто сын был где-то очень далеко — там, на другом берегу океана, и такой он был крошечный, что никак не мог рассмотреть его мастер своими зеленоватыми узкими глазами. Но ничего не сказал.

— Я знаю, что ты, отец, богат, — продолжал Паоло. — Но я составил большой капитал за несколько лет, хотя и не работал, как галерник, за верстаком...

— Зачем ты пришел? — спросил Антонио. — Чего ты хочешь?

— Чтобы ты наконец подумал о семье, о нас всех, — зло, с придыханием сказал Паоло.

Старый мастер удивленно поднял брови.

— Да! Да! Да! — закричал Паоло. — Ты никогда не думал о нас, эти проклятые скрипки затмили твой разум, кроме мерзкого визга их, ты ничего не слышишь!

Антонио скрестил на груди длинные сильные руки и смотрел на сына в упор — теперь тот был уже не крошечным, а громадным, и вздымался как туча над горизонтом.

— Что же должен я услышать? — спросил Антонио.

— Голос разума.

— И этот голос предписывает мне вместе с тобой торговать сеledками и возить черных рабов на плантации? — недобро усмехнулся Страдивари.

— А почему бы нет? — распаляясь, упер руки в бока Паоло. — Половина аристократов вышла из негоциантов. А хоть один граф имеет в родословной мастеровых, ремесленников?

— Никак ты хочешь стать графом? — любопытно спросил Антонио.

— Я, к сожалению, не успею. Из-за тебя, — зло выкрикнул Паоло. — А дети мои могут стать.

— Что же я должен сделать для этого?

— Мы должны объединить капитал — твой и мой. Мастерскую закрыть, а секреты твои продать: я позабочусь о хорошей цене. Джузеппе не сегодня-завтра будет епископом — он проследит здесь за нашими интересами. Франческо поедет управлять моими плантациями в Бразилию, а Омобонو пусть возглавит наш филиал в Генуе. Я буду руководить делами в Неаполе.

— А я? Что буду делать я? — спросил Антонио, и по лицу его было не понять, согласен он с планом первенца или затея ему не нравится.

— А ты будешь почтенным главой коммерческого дома. Тебе ведь шестьдесят уже? Можно и отдохнуть, позабавиться с внуками. Они, слава богу, не будут знать стыда низкого происхождения. И не надо будет им делать скрипок — если им захочется скрипку, то они ее купят. — Паоло захохотал от неожиданной идеи. — Подумай, отец, сколь славен будет венец твоей жизни, если правнуки Страдивари за громадные деньги будут покупать скрипки, помеченные твоей фамилией!

— Да мне и в голову не приходило такое, — пробормотал Антонио. — Но надо ведь спросить еще Франческо и Омобоно — согласны ли они?

И перевел на них свой тяжелый, немигающий взгляд. Омобонو по-прежнему смотрел в пол, но кончики ушей у него вспыхнули рубинами. Франческо помолчал и тихо сказал:

— Как будет ваша воля, отец. Может быть, Паоло прав...

Страдивари встал, прошелся по комнате, одернул кожаный фартук, поправил шерстяной колпак, негромко сказал:

— Сегодня я закончил скрипку и назвал ее «Санта-Мария».

Такой скрипки люди еще не знали. Мне понадобилось сорок лет, чтобы понять устройство ее души. Я надеюсь, что пройдут столетия, и скрипка эта будет служить красоте мира. И душа ее будет созвучна всему прекрасному...

Паоло сердито качнул головой, скривил угол рта. Отец оставил, посмотрел на сыновей, и голос его грянул пушечным залпом:

— Торгаши! Жалкие! Ничтожные! Паразиты! Воры! Вы украли у меня тысячи часов на вашу учебу, я пахал неустанно пустоши душ ваших, поливал влагой разума, затенял вас от зноя алчности и неверия. И взошли плевели, ядовитые сорняки! Вам не нужен мир души человеческой, а ищите вы только денег! Рабы! Я мечтал всем вам дать свободу, а вы жаждали цепей! «Граф Паоло»! Вы при жизни предали и отказались от отца своего. Иудиним целованием отдали меня на забвение, предпочли своим ничтожным идолам! За тридцать сребренников хотите вы продать муки мои и терзания, ночи бессонные, дни каторжные, всю нежность и страсть души моей, боль и искания разума моего! Не захотели вы наследовать умение и талант, терпение и труд, за которые обетовано было мне бессмертие, а ищите жадно нелепых почестей от жалких и смешных людей!

Стрелой, со свистом ударила острая боль в сердце, дышать стало трудно — горло стянуло как ошейником.

— Идите, — сипло сказал Страдивари. — Идите вон. Я не проклинаю вас, ибо вас проклял бог, лишив разума. Живите как хотите...

Много часов просидел мастер в одиночестве, и чувствовал он себя ужасно старым и усталым. Значит, не будет дома Страдивари, не будет династии прославленных мастеров. И никто не скажет никогда про «Санта-Марию»: «Это инструмент раннего периода страдивариевских скрипок, изготовлена она дедом». И весь этот дом, старинная мебель, картины, испанская кожа, флорентинская мозаика, венецианское стекло и левантийские украшения — все для того, чтобы его внуки скрыли, кем был их дед? А может быть, и имя его скоро забудут после смерти, рассыплются по всему миру его скрипки, растрескается их лак, покоробится дерево, «сядет» звук, охрипнет и исчезнет совсем? Ведь человеческая жизнь, какой бы длинной она ни была, — слишком короткий срок, чтобы проверить судьбу скрипки, которая предназначалась служить века!

Страдивари поднялся в мастерскую, снял с пергаментных петель «Санта-Марию» — скрипку огромную, таких еще никто не делал. Классический инструмент «аллонж», яростного вишневого цвета, в нем полыхала «драконова кровь», широкими лучами расходились волокна ласкового клена, и светло сияли звездочки твердой, как металл, альпийской ели. Изящные, плавно вписавшиеся в деку округлые эфы. Сильный, уверенный срез завитка и матовая тусклость грифа.

Страдивари прижал скрипку к лицу и услышал в ней тоненький нежный звон. Потом провел по струнам туртовским смычком, и звук полыхнул, как пороховое пламя, — быстро и легко, звук метался в мастерской, ему было здесь невыносимо тесно, он был огромен и светел, как рассвет.



Страдивари играл, и постепенно утекали горечь, досада, страх, и как-то сами по себе забылись сомнения — проживет ли скрипка века. Да и какая разница, если точно знаешь, что ты играешь сейчас на скрипке, равной которой нет в мире? И может быть, не будет...

А в небольшом дворике стоял худенький малорослый юноша с огромной головой и заворуженно слушал звуки скрипки, доносившиеся из мастерской. Потом стало совсем тихо, на порог вышел слуга и сказал:

— Синьор Страдивари больше учеников не берет...

Джузеппе Гварнери поклонился, поднял с земли свой мешок и медленно пошел со двора.

Синьор Страдивари, великий мастер! Пошлите людей — пусть догонят, вернут скорей большеголового юношу с впалой грудью! Быстрее, ну, пожалуйста, быстрее прикажите вернуть его, пока он не скрылся за поворотом! Ведь вы больше никогда не увидите! Уходит со двора ваша надежда, ваша мечта, свет вашей старости! Неужели вы не слышите в его слабых шагах топота судьбы? Верните, верните!..

Нет, Антонио Страдивари уже за шестьдесят, и сегодня был тяжелый день, и он очень устал. Нет сил и нет возможности заглянуть в завтра. Уже темнеет, надо идти отдыхать...

* * *

17 декабря я вызвал на допрос из следственного изолятора Мельника. Для меня вопрос был ясен — независимо от моей точки зрения дело в отношении Мельника будет закончено и

передано в суд. Да и серьезных аргументов против этого в высших инстанциях я привести не мог — реальных перспектив по розыску его сообщников и скрипки не было видно.

За время, проведенное в тюрьме, Мельник заметно сник. Он сильно похудел, кожа обтянула шишковатый мощный череп и повисла на щеках и подбородке, стала она какой-то прозрачно-желтой, как это обычно бывает у людей от недостатка свежего воздуха.

— Что похудели так, Степан Андреевич? Разве кормят недостаточно? — спросил я.

— Достаточно, — сказал он. — Мне разве, старому, много надо? Да и жена моя дважды передачку приносила.

— А в чем же дело?

Мельник пожевал сухими синими губами, глухо сказал:

— Тоска меня забрала совсем...

— Вас в камере не обижают? — поинтересовался я.

— Нет, — помотал он головой. — Кому там меня заживать? Держат-то меня на спецрежиме, вместе с хозяйственными преступниками. Расхитителями, значит, крупными. А оне — сами люди тихие, в испуге и томлении проводят дни перед судом...

Зазвонил телефон. Я снял трубку — Белаш. Поговорили о том, о сем, потом он как-то странно замолчал, мне даже показалось, будто нас разъединили, и я крикнул в трубку:

— Алло, алло!

— Да-да, Станислав Павлович, я вас слышу, — сказал Белаш, и мне показалось, будто в голосе его еще плывет паутина сомнения, но он быстро выпалил: — Я, собственно, вот почему вам звоню — видел сегодня Содомского, и он мне сказал, что знает, у кого находится скрипка «страдивари».

— Да-а?.. — недоверчиво протянул я и взглянул на Мельника — он сидел неподвижно, закрыв глаза, весь желто-серый, будто припорошенный пылью, равнодушный ко всему на свете.

— Да, — сказал Белаш. — Не знаю, правда ли это, а может быть, и наврал, но я решил вам позвонить.

— Спасибо, — сказал я и подумал, что никто лучше Белаша не может мне дать совет насчет «утерянной» из репетиционного фонда скрипки: XVIII век, предполагаемый автор — Бергонци. Я внимательно посмотрел на Мельника и спросил Белаша: — Григорий Петрович, а вы далеко отсюда?

— Нет, не очень. А что?

— Вы бы не могли зайти ко мне на десять минут? Больше я вас не задержу, а посоветоваться мне надо с вами позарез.

— Хорошо, — сразу согласился Белаш.

Я положил трубку и снова посмотрел на Мельника — он будто застыл в неудобной, какой-то скрюченной позе на стуле и за все время разговора ни разу не пошевелился.

— Так о чем тоскуете, Степан Андреевич?

Мельник поднял на меня — на одно мгновение — тусклые глаза, и я подумал, что они тоже как-то уменьшились, потом устало опустил веки и горестно-спокойно сказал:

— Умру я, наверное, в заключении...

— Это почему же? Недавно еще совсем другие речи от вас я слышал.

— Недавно! — усмехнулся Мельник. — Это у тебя — в суеде,

да беготне, да на воле — месяц не срок. А в камере месяц — срок. Ох, немалый!

— Ну а как же люди года отбывают? Как вы-то будете? Вам ведь за эту кражу, сами понимаете, суд не месяц положит...

— Потом, когда года потекут, не так тяжело. Привыкнешь. А сейчас тяжело. Лежишь да цельный день думаешь. И мысли-то все противные, горячие — кажись, за месяц-то всю жисть свою семь раз можешь обдумать, коли у тебя все равно дела никакого другого нету. А вот все думается снова да снова, и конца-края нет им, мыслям всем этим.

— Ничего не попишешь, — сказал я. — Урок впредь будет. Мельник снова усмехнулся, поднял крутую седую бровь.

— Урок, говоришь? С урока этого на погост меня отправят.

— Почему же на погост? Колония — это вам не каторга. Дадут работу по силам, с учетом возраста и состояния здоровья.

— Не каторга, — повторил Мельник. — А что же — Сочикурорт? Ты-то, чай, на отпуск туда путевку себе не возьмешь?

— Я, между прочим, по чужим квартирам ночью не шатаюсь, а, наоборот, вас в них ловлю. Так что мне полагается путевка в Сочи, а вам — в края с более прохладным климатом. Чтобы работать было не жарко...

— Так я работы не боюсь. Тоска меня там заест. Сгинет тут без меня все хозяйство мое, баба одна не справится. А если Хозяин узнает, что я еще вещичек набрал из квартиры, — пошлет Креста, он мне дом сожжет, вот я чего боюсь. А все сначала начинать — силов у меня уже нету. И добра, нажитого за всю жизнь, очень жалко. Хоть бы вы Креста поймали — все бы мне спокойнее было. А то, коли я в колонию поеду, а Крест здесь шерудить останется, от одних волнений помру.

— Вот видите, бывает, оказывается, что интересы преступного мира и уголовного розыска совпадают, — сказал я, встал, прошелся по кабинету, подошел к окну.

На улице стоял ослепительно яркий, холодный солнечный день, и в этот час мой кабинет освещался таким пронзительным голубоватым светом, будто за окном был установлен «юпитер».

Я обернулся к желтому, уже почти умершему Мельнику и сказал:

— Дело по делам, а суд по форме. Прокуратура оформит производство в отношении вас, и дело передадут в суд.

Он рывком поднял голову, и огромные ушные раковины его крутанулись в мою сторону, как у целевого радиолокатора:

— А как же Хозяин? А Крест? Что же, мне одному кару нести?

В это время в дверь постучали.

— Войдите! — крикнул я.

Отворилась дверь, и, шурясь после коридорного сумрака от ослепительного света, бьющего через окно прямо в глаза, вошел Белаш.

— Здравствуйте! — сказал он и потер рукой глаза, пытаясь нас рассмотреть.

Мельник поднял на него равнодушные, мертвые глаза и безразлично опустил голову. Я пошел от окна навстречу Белашу,

а он, окинув взглядом кабинет, увидел сидящего у стола Мельника. И пока Белаш шел ко мне, протягивая руку, глаза его бессознательно вцепились в бесформенную, как оползень, фигуру старика. Вся комната — длиной пять метров, и мы шли друг другу навстречу, протягивая руки, так что все это длилось, может быть, две секунды, ну три — от силы, но для меня время с грохотом треснуло, задребезжало, оно взвизгнуло лопнувшей пружиной будильника, оно закричало мне: «Я обновилось! Все остальное недействительно, все остальное — вне меня, времени, потому что сейчас существуют только две секунды вашего пути по крошечному пространству этого кабинета!»

Не знаю, не помню, хоть убей, не могу я сказать, какое лицо было у Белаша в это микроскопическое мгновение остановившегося времени; я запомнил только его глаза и руки — ведь я много раз до этого рассматривал его красиво прорезанные умные глаза с тяжелым ироничным прищуром чуть синеватых век. Чужие были глаза у него в это мгновение, будто впопыхах, собираясь на маскарад, он нацепил полумаску, скрывшую лицо, и остались только две узкие прорези, в которых метались сумасшедшие зрачки человека, обезумевшего от тоски, ужаса, бессилия. Как будто не Мельник, раздавленный, почти мертвый от жадности, стыда и горя старик, а клацающий зубами Минотавр изготовился для прыжка со стула с жестяной инвентарной биркой «ХОЗУ», — такие глаза были у Белаша, и я не слышал ничего, я просто оглох на эти секунды остановившегося времени, потому что в голове гремел, постепенно затихая, усталый, тусклый голос Белаша — «...плотью живой он в живую могилу уходит...». И протянутая мне рука, тонкая, с длинными сильными пальцами, покрасневшими от мороза, тряслась.

Все это длилось две, ну от силы три секунды, потому что Белаш оторвал наконец непослушные, живущие от него отдельной жизнью глаза от Мельника и, мучительно разорвав в улыбке рот, сказал мне:

— Холод сегодня на дворе ужасный...

— Да, холодно. Вы знаете этого человека, Григорий Петрович?

Белаш уже пришел в себя и, повернув голову к Мельнику, сказал неуверенно:

— Я даже испугался в первый момент — мне показалось, что я его знаю.

— А почему испугались?

Белаш посмотрел на меня, и я увидел, что глаза у него обычные — как всегда, спокойные, иронически прищуренные; он зябко потер руки, достал сигарету, чиркнул зажигалкой, и я увидел, что руки тоже больше не трясутся.

— Мне показалось, что я его как-то видел дома у Иконникова.

— Так как — показалось или действительно видели?

— Вообще-то сильно похож, хотя категорически утверждать не берусь.

Мельник настороженно поднял голову:

— У какого еще Иконникова?

Я быстро прошел за стол и сказал:

— Гражданин Мельник, гражданин Белаш, между вами будет произведена очная ставка...

Мельник совсем пробудился от своего анабиоза. Его глубокие хищные глазки ожили, блеснули острым, недобрым светом.

— Скрипку найти не можете, так решили на меня все сразу навесить?

— Мельник, я попрошу вас помолчать сейчас. Отвечать будете только мне и только на мои прямые вопросы. Гражданин Белаш, знаком ли вам этот человек?

Белаш внимательно взгляделся в Мельника еще раз и твердо сказал:

— Сейчас, когда он заговорил, я, пожалуй, с уверенностью могу сказать, что именно его я видел однажды у Иконникова,

— Иконников вас с ним познакомил? — спросил я.

— Нет.

— Когда это произошло?

— Месяца два назад.

— При каких обстоятельствах?

— Я пришел в гости к Иконникову — это было незадолго до кражи скрипки — и застал у него этого человека. Он уже уходил и был в пальто. Поэтому я его сразу и не узнал — в этом тулупе. Иконников сказал ему на выходе, чтобы он пришел в другой раз. Вот и все.

— Вы не заметили, в каком пальто был этот гражданин?

— Какое-то темное пальто. Обычное. Я не очень к нему приглядывался — у Иконникова кого угодно можно было встретить.

— Хорошо. Гражданин Мельник, вы подтверждаете слова этого гражданина?

— Сдохнет он пушай раньше, чем я ему такую брехню подтверждать стану! — с остервенением сказал Мельник. — Я его первый раз в глаза вижу!

— Вы были знакомы с Павлом Петровичем Иконниковым?

— И не слышал в жизни про такого! — рубанул ладонь в ладонь Мельник.

— Как же не слышали, когда вы на его имя отправляли письма? — спросил я.

— А-а!.. Вы про этого? Да я и забыл уже! — немного растерялся Мельник. — Письмо опустил, да позабыл! А видать в жизни не доводилось! — И, приложив руку к сердцу, заверил: — Поверьте, не вру. Ей-богу...

— А может, доводилось, да позабыли, как с письмом?

— Не видал, не знаю, не бывал! Сказал — и баста! — заорал в голос Мельник.

— Ну-ка, тихо! Тихо! — уgomонил я его. — Значит, записать, что Иконникова вы никогда не видели и сидящего перед вами гражданина Белаша тоже не знаете?

— Точно. Так и запиши.

Белаш пожал плечами и совершенно спокойно сказал:

— Могу дать голову наотрез, что это был именно он...

— А что? Удивление — это эмоция положительная, — засмеялся комиссар.

— Ничего себе — положительная! Я думал, его от испуга кондрашка хватит.

Комиссар сдвинул на лоб очки, прищурился хитро:

— Так он и на испуг имеет законные скидки: у тебя в кабинете не Поляков сидел, а человек, которого он видел у Иконникова незадолго перед кражей, после чего — тоже вскоре — Иконников умер. Тут его понять можно: состояние у него душевное сейчас препаршивое. Ты не задумывался, почему Содомский говорил именно о Белаше?

— Мне кажется, он наводил меня на него. Про Дзасохова Содомский прямо сказал: «Мог украсть», — и видел, что я ему не поверил. А рассуждения о Белаше были много тоньше. Противный человек этот Содомский. Может быть, профессия накладывает отпечаток?

— Почему — профессия? — не понял комиссар.

— Ну, все эти увертки: «Вам билетик оставляю, вам достану, не будем друг на друга в обиде, я вам — вы мне...»

— Это ты брось! — махнул рукой комиссар. — Род занятий к душевной силе не имеет отношения: Кузьма Минин, до того, как Русь освободил, мясом на рынке торговал. А то, что Содомский противный, — это не основание полагать, будто он участвовал в краже.

Зазвонил телефон. Комиссар снял трубку:

— Да, Слушаю. Здравствуйте... А, знаю... Мне докладывали уже. Ну и что? Хороший он футболист, за «Динамо» играет, знаю, незаменимый нападающий. Да вы меня напрасно уговариваете — я за «Спартак» болею... Ага... Ах, серьезно?.. Так вот, если серьезно, то вам надо было раньше заботиться — мои ребята его третий раз в пьяном виде в кафе «Ли́ра» забирают... Да-да-да, оформим его по мелкому хулиганству, как из пушки... Пусть метлой на улице помашет, подумает, как жить дальше... А вы пожалуйте на меня — МВД СССР, улица Огарева, шесть... Вот так... А вы думали?.. Всего хорошего...

Комиссар в сердцах брякнул трубку на рычаг.

— Адвокаты. Заступники. Заразы! Им бы только голы чтобы он забивал, а там хоть трава не расти! То, что он в тюрьму попадет при таком поведении, — это чихать! Ну ладно, что ты говорил?

— Третий месяц сегодня пошел со дня кражи, — сказал я расстроено. — И за такой громадный срок — такие результаты.

— А какие результаты? — сердито спросил комиссар. — Не в домино играешь. Терпения и трудолюбия тебе не хватает.

— Мы и так работаем по вашей любимой схеме — пораньше начать, попозже кончить, зато без перерыва. Куда уж больше!

— Не знаю. Может быть, еще два часа надо. Откуда мне знать — ты ведь в деле хозяин. Сам и решать должен.

— Но дело не в количестве работы! Тут новая идея нужна! А никаких подступов не видно.

— Не видно, говоришь? А жаль — я бы шофера своего, Лешу, послал туда, где видно... Он бы мне скрипку и доставил. А результаты есть, и немалые.

— Какие?

— В этой еще недавно монолитной стене появились трещи-

ны. Надо теперь просто работать — день за днем расширять их, углублять, пока вся эта конструкция не завалится.

— Хорош совет! Надо ведь трещину угадать! Только одна ведет к тайнику, а остальные-то — в никуда!

— А раньше все вели в никуда! — сказал комиссар. — Вопрос у меня к тебе: почему Белаш раньше не говорил, что Иконников был его учителем?

— Не хотел, чтобы люди этого круга знали — это была воля Иконникова.

— А ты разве в филармонии служишь? Я перечитал его показания — не так он защищал своего учителя, как мне бы этого хотелось! В жизни всякое случается, и я бы не хотел, доведись такое, чтобы ты меня так защищал!

— Не обязательно защищать, захлебываясь от восторга, — сказал я.

— Конечно, если бы ты в жюри на конкурсе заседал, а Белаш докладывал об исполнительских заслугах Иконникова. Но ты-то допрашивал Белаша по ситуации, которая сводится к общему знаменателю — мог украсть Иконников скрипку или нет.

— Белаш и заявил категорически: нет, не мог.

— Верно, заявил. Но все равно меня что-то коробит во всем этом. Я бы на твоём месте поглубже выяснил вопрос взаимоотношений Иконникова и Белаша.

Я помолчал, покрутился, потом сказал:

— Не думаю, чтобы это было целесообразно.

— Дело хозяйское, — пожал плечами комиссар. — А почему?

— Во-первых, это значит, что я пойду на поводу у Содомского, а один раз нас уже навели на Иконникова. Во-вторых, Иконников мертв, и я неизбежно вернусь к Белашу. Круг получится.

Комиссар встал, в задумчивости походил по своему просторному кабинету, подошел ко мне и положил руку на плечо.

— Я ведь не утверждаю, что обязательно что-нибудь найдешь. Но трещины нельзя оставлять без внимания. И Белаш вовсе не единственный источник информации об их отношениях с Иконниковым. Они ведь не из лабораторной колбы вылупились накануне кражи. Они жили среди людей, а у людей до-о-лгая память. Много чего они помнят, потому что мы и в чужой жизни оставляем семена своих поступков — добрых и злых. И проходит иногда много лет, пока эти семена дают росток. Мы уже и сами-то забыли, а люди помнят, потому что сорняки ли, злаки ли, а взошли они на их земле...

Я не мог найти никакого логического объяснения испугу Белаша. Скорее всего он действительно видел Мельника у Иконникова. Но его волнение при встрече с Мельником у меня все равно было неадекватно тем переживаниям и неприятным чувствам, которые эта встреча могла вызвать.

С другой стороны, мне было абсолютно непонятно поведение Мельника: почему он отпирается от знакомства с Иконниковым? Какая ужасно нелепая мешанина...

Я раздумывал об этом, сидя в преподавательской комнате Центральной детской музыкальной школы, где дожидался Николая Сергеевича Трубицына — преподавателя класса скрипки. Около семнадцати лет назад он писал характеристику, которую я нашел в архивном деле абитуриента Г. П. Белаша в приемной комиссии Московской консерватории.

— Белаш? Конечно, помню! Это, так ска-ть, был мальчик исключительный. Так ска-ть, в смысле музыкальных способностей и человеческих свойств характера...

Худощавый белокурый человек совершенно неопределенного возраста, Николай Сергеевич Трубицын относился к той категории застенчиво-нервных людей, для которых вступление в контакт с любым новым знакомым мучительно. Такие люди, испытывая болезненную неуверенность в себе и своих поступках, в своих выводах и решениях, обычно изо всех сил стараются в первые же мгновения знакомства скорее понять своего собеседника, выбрать подходящий ключ поведения. От этого они — погруженные в свои размышления — невнимательны, рассеяны и, пытаясь сосредоточиться, беспрерывно загружают руки какой-то ненужной работой: потирают виски, поправляют очки, листают перед собой бумажки, крутят карандаши и, что самое главное, все время отводят в сторону глаза, из-за чего невольно создается впечатление, что тебя обманывают или не договаривают что-то важное.

— ...Не помню сейчас точно, не один год уже, так ска-ть, прошел, а звали его Гриша. Это ведь, так ска-ть, распространенное имя?.. Мы с ним, так ска-ть, не один год здесь вместе провели...

— А точнее вы не можете вспомнить?

— Почему же не могу? Конечно, так ска-ть, могу. Он выпуска 1957 года, а работал я с ним, так ска-ть, четыре года — значит, он пришел, так ска-ть, в 1953-м.

— Встречались ли вы после того, как он окончил школу?

— Нет. То есть да. Так ска-ть, случайно, один раз. Два года назад.

— А ученик он был хороший?

Трубицын потер лоб ладонью, будто вспоминал, хотя ничего он не вспоминал, а просто хотел поточнее сформулировать свою мысль.

— Ученик он был неважный. А музыкант — исключительно способный. Он был, так ска-ть, безусловно талантливый молодой человек.

— А в каком же смысле он был неважный ученик?

Трубицын снял очки, быстро протер стекла, вновь надел их, забарабанил сухими, желтыми от канифоли пальцами по столу, и на лице его было мучительное непонимание этого разговора, которое прорастало из тех далеких пор, когда он стремился и не смог понять своего талантливого и нерадивого ученика.

— Вы курите? — спросил он.

Я отрицательно качнул головой.

— Вам не мешает, если я буду курить? — сказал он, будто я был хозяином в этой маленькой комнате с гипсовым бюстом Чайковского и портретом Глазунова. — Этот мальчик с первого взгляда, так ска-ть, произвел на меня большое впе-

чатление. В любые самые элементарные композиции, так ска-ть, он умудрялся внести что-то свое. Как бы это выразиться? Он ненавидел азбуки. И на этой почве мы с ним все время ссорились. Я твердо знаю, так ска-ть, что человек способен на открытие нового только тогда, когда он в совершенстве знает свое старое. И я постоянно с ним бился, доказывая это, а он все время внутренне, так ска-ть, ну как бы усмеялся. Я чувствовал это. Я чувствовал, что мои усилия словно натываются на несокрушимую стену, и это не могло быть, так ска-ть, простое детское упрямство или непризнание авторитета взрослых...

— А что же? — спросил я.

— Мне казалось, особенно в последнее время, что за этим упорством есть убеждение, построенное на вере. В себя или в какой-то другой, неизмеримо больший, чем у меня, авторитет.

— Как это выразилось?

— Так ска-ть, в неприятии моей методы. Мы бились, например, с ним над какой-то вещью, и я, так ска-ть, убеждая его, показывал, объяснял, и он соглашался, и мы добивались нужного, с моей точки зрения, акцента, интерпретации, смыслового прочтения, наконец, решения техники исполнения. Через несколько дней возвращались — и он играл совершенно по-другому...

— Хуже?

— Нет. Но совсем, так ска-ть, по-другому. И было в его игре очарование таланта, ужасно непривычная и свежая манера, и его игра мне все время напоминала что-то слышанное уже, или, может быть, это мне казалось, но я затрудняюсь вам объяснить это, — я боялся с ним спорить, потому что нечто подобное, необычайно сильное, уверенное, апробированное талантом и вдохновением я уже когда-то слышал. Иногда мне казалось, так ска-ть, что он знает больше меня и потихоньку посмеивается надо мной. Это большое, так ска-ть, не по годам знание меня пугало. Я боялся за него...

— Но чего вы боялись? — удивился я.

— Видите ли, мои опасения скоро стали сбываться. Хотя и в неожиданном, так ска-ть, направлении. В его поведении появилась какая-то бесшабашность, залихватство, неудержимое стремление показать, что ему все доступно, что он может все. Наверное, в это время он мечтал стать, как легендарный тамбур-мажор Иван Степанович Лушков, ростом в два с половиной метра, — тогда бы его все замечали и видели, знали, что он есть. Однажды меня вызвали в милицию и сказали, что его привлекают к суду за хулиганство. Со своими приятелями он совершил вещь непостижимую...

Даже сейчас, спустя почти два десятка лет, от воспоминания о том еще неизвестном мне безобразии Николай Сергеевич Трубицын задохнулся в волнении.

— А что же они сделали? — поинтересовался я.

— На углу Сретенки и Рождественского бульвара у троллейбусной остановки сидел в будочке старый чистильщик обуви — айсор. Белаш с приятелями привязали веревку к стенке будки, а другой конец накинута на крюк троллейбуса. Когда машина отошла от остановки, то она, естественно, поволокла за собой по улице будку с вопящим айсором и до смерти перепуганным клиентом...

Я представил себе эту картину и невольно улыбнулся. Трубицын удивленно посмотрел на меня:

— Вы смеетесь? Вы находите это смешным?..

— Ну есть же безусловно смешные вещи, — пожал я плечами, — хотя в данном случае это типичное хулиганство.

— Я тоже был молодым, так ска-ть. И был подвержен всем устремлениям, свойственным юности. Но я никогда не мог допустить такого возмутительного поступка. Белаш ведь должен был понимать, что это не только обидно, но и опасно в конце концов...

Он весь был маленький, возмущенный, встопорщенный и в то же время все равно оставался очень аккуратным. Он все время ходил по комнате, наверное, чтобы не садиться и не измять строгую, как меридиан, линию своих стареньких заглаженных брюк. И я подумал, что его наверняка обижали мальчишки — его сверстники, и потом пытались подшучивать над ним ученики. И хотя ему было не меньше пятидесяти, он все равно казался мне совсем молодым. Трубицын был молод особой, старобразной принципиально-запальчивой молодостью, в которой всегда есть покушение на несостоявшуюся значительность, подчеркнутая серьезность, взращенная сознанием своей совсем маленькой ответственности. И все это — тонкая, хрупкая броня, звенящая от постоянного напряжения, как молодой лед. Потому что внутри очень нервная, испуганная, легкоранимая сущность ребенка, которому было ненавистно и страшно его физически неможное детство и неприятна затравленная многочисленными комплексами юность, поскольку эта пора требовала от него непосредственности, самостоятельных решений и силы воли. Он вырвался из детства, как из тесной рубашки, чтобы скрыться в обезличивающем балахоне взрослости.

Трубицына пугали мальчишеские выходки Белаша и скрипичный почерк Павла Иконникова, который он каждый день слышал на занятиях с мальчиком, и не мог вспомнить, и не мог принять этого волнующего и мощного, как подводное извержение, влияния, но оно было сильнее всех его устремлений, и он, даже не подозревая об этом, вел заочный бой с таким скрипачом и человеком, как Иконников. И, не понимая, каждый день все острее чувствовал свое поражение, и эта необъяснимость повседневного ухода его ученика в какие-то неизведанные им самим миры угнетала и сводила на нет все его миропредставления и с пугающей ясностью ставила вопрос о том, что в юности можно быть и не таким, каким был он, Николай Сергеевич Трубицын...

— Чем же закончилась эта история? — спросил я.

— Школа заступилась, их оштрафовали и отпустили. Через несколько дней Белаш выступал на Московском фестивале юных музыкантов и получил первую премию. А через месяц сдал конкурсный экзамен в консерваторию по классу скрипки...

— Однако, кроме экзамена по специальности, он больше ничего сдавать не стал. С чем это было связано?

— Ах, если бы я знал! — взмахнул руками Николай Сергеевич. — Он ведь уехал, даже не попрощавшись со мной. При всей эксцентричности его натуры этот поступок для меня до сих пор непостижим. Человек с его способностями, с его

интересами и склонностями вдруг в одночасье собирается и уезжает работать на целину! Тогда это, правда, было модно, но ведь он должен был сдавать экзамены в консерваторию!

— И больше вы не виделись?

— Нет... — И как-то робко добавил: — Я все-таки в него много сердца вложил. Это был один из самых способных мальчиков, которых мне довелось учить...

В этот момент мне стало его остро, просто болезненно жалко — такой он был маленький, потерянный, униженный чужой сухостью и неблагодарностью.

— Николай Сергеевич, а вы сами не пытались его разыскать? Или узнать о нем что-либо? Тогда еще...

— Как не пытался? Я ходил несколько раз к нему домой и разговаривал с его матерью.

— И что она вам сказала?

— Ничего. Сначала она еще сохраняла какие-то обязательные нормы вежливости, а потом стала обращаться со мной как с докучливым посетителем.

— Она разве не хотела, чтобы он учился музыке?

— Наоборот! Она была просто ненормальная на этой почве. Честно говоря, я ей много прощал именно из-за этой ее неистовой страсти сделать своего сына выдающимся музыкантом. Женщина она ужасная, хотя я понимаю — ей весьма несладко пришлось в жизни.

— А что?

— Она ведь одна воспитывала своего сына. Я не знаю деталей, но отца в семье не было. И, должен вам сказать, воспитание она давала сыну кошмарное. Любое его требование выполнялось, хотя для этого ей приходилось работать нечеловечески.

— Чем она занималась?

— Она была тогда аккордеонисткой в джазе ресторана «Нарва». Пока Гриша учился у меня, я много раз говорил с ней и после каждого разговора ужасался: при таком воспитании сын должен был вырасти черт знает чем, а вырос немного балованный, но в целом добрый мальчик.

— А что вас ужасало?

— Все. И в первую очередь — низкая культура, помноженная на мелкопотребительскую философию. Каждого человека, который не умел устроить что-либо «по блату», она называла придурком. И что самое ужасное — она говорила это при сыне, совершенно не скрывая низменности своих воззрений. Я с ним отработывал пассажи повышенной сложности, чтобы расковать пальцы, а она ему говорила: «Выучишься на виртуоза, будешь по границам кататься». Я ей говорю, что великий виолончелист Карл Давыдов никогда так не играл за границей, как он блистательно играл на родине, а она мне в присутствии сына отвечает: «Другие были времена и совсем другие зарботки».

— Так что она вам тогда сказала по поводу отъезда сына?

— Что сама не знает, почему и куда уехал Гриша. Но я не верил ей.

— Почему?

— Такая мама, случись это без ее ведома, Совет Министров

подняла бы на ноги. А она — нет, ничего... И я понял, что решение об отъезде было принято ими совместно.

— А почему вы решили, что она тяготеет вашими визитами?

— По тону, по тому приему, что она мне оказывала. Наконец однажды она мне сказала: «Что вам, больше всех надо? Без вас не обойдется?..» И я перестал туда ходить. А спустя два года узнал я, что у Белаша был тяжелый перелом левой руки, вызвавший контрактуру пальцев...

И сразу же в коридоре задребезжал, забился звонок — кончился урок, перемена. Мы проговорили ровно один урок. Академический час. Бесплатный урок по музыке, этике, человеческой памяти, преподанный мне во время «окна» педагогом по классу скрипки Трубицыным, добрым, слабым, аккуратным человеком, так и не узнавшим, к счастью, что семнадцать лет назад его сердце, вложенное в ученика, было нужно только для получения аттестата перед конкурсным экзаменом.

ГЛАВА 5. БАБКА ТРУМЭНА

Накая честь! Какое уважение! Какая милость оказана бедной семье Гварнери! В их убогий дом пожаловал в гости сам каноник прихода святого Доната монсеньер Джузеппе Страдивари!

— Простите, монсеньер, у нас здесь темно и грязно. Вот сюда садитесь, пыль уже смахнули... А не желаете перекусить? У нас, правда, только сыр и помидоры. Спасибо, вы истинно добрый человек...

Молодой Гварнери не садился. Он стоял, прислонившись спиной к стене, а голова кружилась, в глазах вспыхивали ослепительные круги, и тяжело теснило в груди. И когда вытирал платком рот, на полотне оставались черно-алые пятна. Отец толкнул его в бок:

— Приглашай, не стой чурбаном. Видишь, какая радость в доме. Известный своей святостью отец Джузеппе пожаловал.

Джузеппе Страдивари сказал ему не громко и не тихо, не сердито и не ласково, а так, мертвым каким-то голосом:

— Оставьте нас, почтенный Гварнери. Мне надо поговорить с вашим сыном.

Захлопнулась дверь, и монах все тем же безжизненным голосом спросил:

— Джузеппе Гварнери, ты можешь сделать скрипку лучше, чем делает мой отец — Антонио Страдивари?

Юноша устало опустил на лавку, с интересом глянул своими быстрыми черными глазами на монаха.

— Ваш отец гений, монсеньер.

— Это не ответ.

— Никто не может знать о себе, гений ли он или это только кажется.

— Гордыня богопротивная обуяла моего отца и затмила разум его. А что ты думаешь о себе?

— Не знаю. Может быть, с годами я смогу построить скрипку, подобную инструментам вашего отца.

— Что мешает тебе?

— Нищета. Я не могу даже купить потребных мне материалов.

— А если найдется человек, который даст тебе денег?

— Я всю жизнь молил бы за него бога и славил его доброту звуками своих скрипок.

— За твое усердие и за твои способности ручается купец и посредник Дювернуа.

— Что толку?! — с досадой воскликнул Гварнери. — Он сам разорен и не может мне дать ни одного байокко.

— Его деньги и не нужны, — усмехнулся монах. — Нужно было только его мнение знатока.

— Разве кто-нибудь хочет одолжить мне денег? — с испугом и надеждой спросил Гварнери. — Разве есть такая добрая душа на свете?

— Есть. Но в суете мирской мы часто забываем о том, кто печется о нас денно и нощно и ведет нас за собой к свершению, — сказал тихо Джузеппе Страдивари. — Орден Иисуса именем божьим протягивает тебе руку помощи в минуту тягостных испытаний и сомнений.

Из бездонного кармана сутаны монах достал и бросил на стол туго звякнувший кожаный мешочек.

— Здесь тысяча пистолей. Ты сможешь открыть мастерскую и делать скрипки, которые восхвалят своим пением имя божье и добрые дела его верных слуг.

Гварнери пал на колени и стал иступленно целовать худую белую руку Страдивари. Слова благодарности сбивались у него в горле, он хотел сказать, как счастлив, как высоко он ценит эту безмерную помощь, что он все, до последнего гроша вернет с низким поклоном любви и веры, но слова все забылись, перемешались, и только больно и сильно клокотали в узкой, впалой груди, и светлые слезы безостановочно катились из глаз.

Монах встал, сухо сказал:

— Не благодари меня. Я действую по воле и от имени бога. Да, хорошо, что я не забыл: тебе надо подписать одну бумагу. Ты учен грамоте или тебе прочитать?

Гварнери трясущимися от радости руками развернул свиток, торопливо кивая:

— Да-да, я знаю грамоту...

Буквы прыгали перед глазами, не хотели выстраиваться в строчки, и, медленно шевеля губами, Гварнери углублялся в их страшный смысл, но не хотел, не мог поверить...

«...В течение пятнадцати лет, считая с дня сего, я, Джузеппе Гварнери, внук Андреа, жертвую приходу святого Доната все инструменты, сотворенные мною в знак благодарности за милость, ниспосланную мне всевышним, на укрепление дела и веры, отстаиваемых святым Орденом Иисуса Христа — истинного служителя веры, осененного подвигами и мученичеством нашего достославного генерала Ордена Игнациуса Лойолы... И клянусь клятвой крови подписывать все свои инструменты именем своим, освященным именем страдальца за грехи человеческие — Джузеппе Гварнери Дель-Джезу...»¹.

— Как же это? — шептал помертвевшими губами Гварнери. — Я ведь хочу, чтобы на них играли люди...

¹ Дель-Джезу — сын Иисусов.

— На них будут играть достойные люди, — сказал Джузеппе Страдивари. — Церковь позаботится об этом.

— Но я не могу продать себя на пятнадцать лет! — в отчаянии выкрикнул Гварнери. — И я хочу знать, что станет с моими скрипками.

— Мы отданы богу на всю жизнь, и тебе оказана большая честь служить ему. И если ты не сможешь оценить милость, то умрешь в нищете и забвенье.

— Но у меня плохое здоровье — я не знаю, проживу ли я больше пятнадцати лет. Неужели я никогда не смогу работать для себя?

— Ты работаешь для бога, и эта участь много слаще. Пусть



волнует тебя одна забота — твои скрипки должны быть лучше, чем у моего отца.

— Но зачем вам это надо? — с недоумением спросил Гварнери.

— Он забыл бога. И если ты станешь таким же мастером, то впереди тебя пойдет церковь, и ты будешь один. Один — лучший мастер мира. И пусть лучшие скрипки мира славят бога...

Будущее скрыто от человеческих глаз. И монах Джузеппе Страдивари был человек, и не мог знать он, что, замыслив гибель отца своего, он уготовил ему окончательное бессмертие, и, собирая для Ордена иезуитов скрипки Гварнери, он не сможет уберечь самую лучшую, которую на весь мир прославит гонимый и проклятый иезуитами безбожник и враг церкви Никколо Паганини...

В Центральном адресном бюро мне сообщили, что Белаш до переезда в свою нынешнюю квартиру в Брюсовском переулке проживал в квартире 29 дома 15 по Рождественскому бульвару. Дом был расположен на территории 18-го отделения милиции. В этой же зоне произошел эпизод с айсором, его будкой и троллейбусом. И я пошел в 18-е отделение.

Я и сам не знаю, что рассчитывал найти — вряд ли за столько лет там остался хоть один старослужащий. Кто-то пошел на повышение, кто-то переехал на новое место жительства и работает ближе к дому, остальные демобилизовались. Все-таки семнадцать лет оттикало. Это очень много, семнадцать лет...

А мне надо было разыскать тех ребят, с которыми Белаш семнадцать лет назад привязал канат к будке айсора. Этот канат уходил в прошлое, в юность, с детства устоявшиеся привязанности, в мальчишескую дружбу, не знающую секретов, в совместное обсуждение планов жизни, общие радости и солидарное решение горестей. Эти мальчишки были связаны канатом своей дружбы прочнее, чем они привязали будку к троллейбусу. Они обязательно должны были знать, почему их друг Гришка Белаш так внезапно изменил свои планы, причем планы незаурядные, и уехал на целину, откуда вернулся уже с необходимостью оставить эти планы навсегда. Должно было случиться что-то очень важное, чтобы вдруг изменить так решительно свой жизненный курс.

Я знал, что книги регистрации происшествий не имеют сроков хранения, они лежат в архиве вечно. Но книга регистрации содержит очень скудные сведения и отсылает к материалам дела. Вот дела только этого не было.

Начальник уголовного розыска отделения, молодой парень с университетским значком, просматривавший вместе со мной старую книгу за 1954 год, спросил:

— А в каком месяце это произошло?

— Не знаю. Но я думаю, надо смотреть что-нибудь с апреля — зимой редко пользуются услугами чистильщиков.

Медленно листали мы страницы, старые, волглые, с завернувшимися уголками, засаленные на краях, в чернильных клаксах и бурых каплях грязи — печальную летопись неправильного поведения людей на территории с населением немного меньше, чем в Люксембурге. Муж избил жену... Украл сохнувшее на чердаке белье... Учинили драку в пивной на Сретенке... Доставлен и предупрежден о систематическом нарушении положения о прописке... Задержан в автобuse во время карманной кражи... Из ларька похищено семь бутылок вина «Кюрдамир»... Сосед вышиб дверь в ванной... Вырвал сумку из рук и скрылся... В трамвае «А» нецензурно выражался, будучи в пьяном виде... Несовершеннолетние из дома тринадцать угнали голубей... Пропал ребенок семи лет... Падерин, пытаясь привлечь внимание Кононовой, выстрелил через окно в ее комнату из ракетницы, чем вызвал пожар... Доставлен пьяный водитель автомобиля «Победа»...

«...12 мая, 17 часов 20 минут. Несовершеннолетний Белаш и еще двое неустановленных граждан привязали будку чистиль-

щика к троллейбусу, что вызвало волочение будки по проезжей части улицы Сретенки вместе с чистильщиком и обслуживаемым клиентом. Материал передан участковому...

Вот и все. Материал был передан дознавателю, который наверняка очень быстро установил личности двух «неустановленных граждан», и, учитывая эти личности — ранее несудимы, школой и по месту жительства характеризуются положительно, в совершенном поступке искренне расклинаются, — ограничился штрафом, материал пошел в архив, а через год за малозначительностью был ликвидирован.

Значит, отсюда мне на этих ребят не выйти. Я сидел и думал, как бы мне добраться до них, не обращаясь с расспросами к Белашу, и почти механически листал журнал происшествий дальше, и все тот же поток маленьких человеческих горестей неровным фиолетовым чернильным ручейком струился у меня между ладонями.

«...Пушкарев хулиганил в фойе кинотеатра «Уран»...

В Клубе глухонемых украли с вешалки пальто...

Монахов угрожал ножом Сизоненко...

В Колокольниковом переулке 10-летнего Сашу Басова искусила собака, подозрительная на бешенство...

Никифоров доставлен за безбилетный проезд в автобусе и отказ платить штраф...»

А может быть, спросить у Белаша? Кто был с ним? Нет, пожалуй, нельзя. Если я не прав в своих домыслах — мой вопрос глубоко уязвит его. Он, конечно, назовет людей, но результат разговора с ними остается гадательным. Если же я прав, то, во-первых, насторожится Белаш и поймет, что я стал копать вглубь. Людей не назовет: забыл — и точка. Но, во всяком случае, будет готов к атаке. А так сохраняется надежда на фактор внезапности. Что же делать? Как поступить? Неужели тупик?

«...Неустановленный мошенник продал Лаптеву медное кольцо под видом золотого...

Ерохин выстрелил из охотничьего ружья, заряженного солью, в спину Селиверстову...

Щукин выгнал из дому семью и буйствует в пьяном виде...

Калугин задержан в момент попытки обворовать машину БМВ...»

Почему он так скоропалительно уехал тогда? Или, может быть, это вообще все чушь? А если даже что-то важное подтолкнуло его, то какое отношение это имеет к нынешним делам? Ведь было это все так давно! Или я сам боюсь себе признать, что окончательно потерял маршрут поиска? Интуиция? Но она молчит — ничего она мне не говорит сейчас. Или этот ненормальный интерес к личности Белаша, несостоявшегося преемника дел и мук Иконникова, и есть интуиция? Но интерес — это не интуиция. Или я удовлетворяю свое любопытство за казенный счет? Разве я смирился с пропажей скрипки? Или был прав Белаш, когда говорил мне, что не для того воруют скрипки, чтобы попасться? Так что — я подозреваю Белаша? В чем? Наверное, это не так линейно: я просто уверен, что Белаш гораздо больше знает, чем говорит мне. Значит, я ищу в бумажках — старых, истертых, забытых — ключ? Ключ к пониманию его поведения

спустя столько лет? Но разве так бывает? Люди сильно меняются за такой срок. Уж очень много лет утекло...

«...Убийство. Ограблена квартира гр-на Семынина и убита его мать. 76 лет. Розыск ведет оперсостав отделения и Московский уголовный розыск».

Эта строчка, написанная торопливо, прыгающими, разбегающимися по странице буквами, просто брызнула мне в глаза, будто в стоялую воду забытого омута давно истаявших людских бед с силой бросили камень, потому что так уж, наверное, устроен человек: убийство и через семнадцать лет, и через сто семьдесят привлекает к себе острое внимание, особенно если ты прослужил уже много лет в уголовном розыске, и от этого, читая скачущую журнальную скоропись, сразу представляешь себе мгновенную тишину, что, как варом, заливают дежурку, и тяжелый, торопливый топот наряды, бегущего к машине, и сразу осунувшееся лицо оперативника, который сейчас примет на себя всю власть и всю ответственность за начальный розыск, и горячечный перезвон телефонов, истошные крики родственников и испуг соседей. И чем ты больше повидал такого, тем меньше привыкаешь...

И все-таки, прочитав эту строчку, я, наверное, пошел бы дальше. Но запись была сделана седьмого августа — 00 часов 35 минут 7 августа. А перед этим я долго думал о Белаше. 10 августа он должен был писать сочинение на приемных экзаменах в консерваторию. И у меня перед глазами стоял его экзаменационный листок:

«1/VIII — специальность — отлично.

10/VIII — русский письменно — не явился».

В те незапамятные времена, когда я еще был не в силах одолеть премудрости игры в домино, я любил выстраивать костяшки ровным длинным рядком, одну за другой, и, соорудив сложную конструкцию, легонько толкал крайнюю кость. Падая, она толкала следующую, та — третью, и весь ряд с негромким треском заваливался на бок.

Найдя сообщение об убийстве семнадцатилетней давности, я толкнул крайнюю костяшку в длинном ряду человеческих судеб, которым пришлось стоять рядом на расстоянии одного человеческого падения...

— А в наших материалах, в МУРе, вы нашли что-нибудь интересное? — спросила Лаврова.

— Нет, их же арестовали через два дня — Баранова и Костылина. Пришли в «скупку» два таких важных сопливых деятеля с меховым манто. А уже ориентировка прошла. Ну их прямо там и взяли. Допросили и передали в прокуратуру, они ведь оба были несовершеннолетние. К вечеру они рассказали про Лопакова.

— И ни в следственном, ни в судебном деле ничего нет? — спросила снова Лаврова.

— Нет, о Белаше там нигде не упоминается ни единым словом. Но все трое осужденных проживали с ним в одном доме, и через день или два после убийства Белаш не явился на экзамен, срочно выехав из Москвы. Это, конечно, может быть совпадением, но...

— Дело большое?

— Нет. Они сразу во всем признались, расследование было закончено за месяц.

— А как формулировалось обвинительное заключение?

— Ну как — обычно! Трижды судимый Лопаков, двадцати шести лет, вовлек в преступную группу несовершеннолетних Баранова и Костылина и, уверив их, что семья инженера Семынина находится на даче, уговорил обворовать квартиру. Но, когда вскрыли дверь, неожиданно для себя они застали в квартире перепуганную старуху — мать Семынина. Старуха закричала, и тогда Лопаков ударил ее по голове ломиком.

— Как квалифицировал суд их действия?

— Суд признал убийство эксцессом исполнителя, поскольку оно выходило за рамки преступного сговора. Лопакову дали двадцать лет, а Баранову и Костылину — по девять.

— А что с ними стало?

— Адресное бюро сообщило, что Баранов проживает в Москве по старому адресу. А ответ на мой запрос о Лопакове и Костылине еще не пришел.

— Вы, конечно, собираетесь говорить с Барановым?

— Конечно.

Лаврова прошла по кабинету, закурила, быстро взглянула на меня:

— О скрипке уже забыли все. Господи, как давно все это началось, будто сто лет пробежало.

— Сто не сто... — пожал я плечами.

— Два месяца с небольшим, — уточнила Лаврова.

— Не-ет, — покачал я головой. — Это началось не с минуты кражи. Я уверен — много лет назад все это началось.

— И вы хотите реставрировать поступки людей и время, которое уже безнадежно утекло? Даже если в этом прошлом и были заложены какие-то мины, то взрыватели давно отсырели. Даже фейерверка не получится, не то что взрыва!

— Во-первых, в старую мину можно вставить новый взрыватель, и она гроыхнет за милую душу. А во-вторых, не все за-были о скрипке. И я тоже...

— Станислав Павлович, но поймите, со стороны это виднее, — вы хотите совершенно умозрительно связать канатом будку чистильщика и скрипку «страдивари»? Ведь вы именно этого хотите, что бы вы ни говорили о стремлении познать глубинную природу поведения человека! А это — логический произвол, и приводит он всегда к абсурду.

— Может быть! — упрямо сказал я. — Но я сам видел — понимаете, видел! — как испугался Белаш при встрече с Мельником. Почему Белаш должен был или мог так сильно испугаться при встрече с неизвестным ему, по существу, человеком?

— Но это не довод. Не довод! И, во всяком случае, вы никогда не прочертите отсюда логическую цепь в прошлое. Ведь Мельник, в свою очередь, с пеной на бороде доказывает, что видит Белаша впервые! Значит, он врет, а ему сейчас врать нет никакого резона.

— А Мельник, может быть, и не врет.

— Но вы же противоречите себе! Если Мельник с Белашем никогда не виделись, то и волнение Белаша скорее всего вызвано обстановкой, ошибкой или тысячью других причин.

— Но есть еще один вариант, — сказал я.

— Какой?

— Вот если, к примеру говоря, я выйду за дверь и буду смотреть отсюда на вас в замочную скважину, то вы меня не будете видеть, а я вас прекрасно рассмотрю.

Лаврова развела руками:

— Ну, знаете ли, таких вариантов можно придумать сколько угодно. Хорошо, давайте встанем на вашу точку зрения — предположим, что Белаш имел какое-то отношение к преступлению семнадцать лет назад и следствием установлен не был. И что? Сроки давности уже много лет как истекли. Он не может быть подвергнут уголовному наказанию и, следовательно, вас не боится.

— Ага! — злорадно сказал я. — Вот это уже другое дело! Мне не надо подвергать Белаша уголовному наказанию! Мне надо выяснить, способен ли он на такой поступок.

— Да ничего вы не выясните! — с досадой сказала Лаврова. — При всех обстоятельствах он был тогда еще мальчик, ребенок! А человек сильно меняется с годами...

Николай Баранов, семнадцать лет назад называвшийся смешным дворовым прозвищем Бирика и приговоренный к девяти годам колонии общего режима за разбойное нападение, условно-досрочно освобожденный за примерное поведение и добросовестное отношение к работе, в тот момент, когда я пришел к нему домой, высаживал на горшок трехлетнюю дочку.

У девочки были такие же, как у отца, прозрачные голубые глаза и белые кудряшки. Сидя на своем троне, она что-то строго выговаривала отцу, а тот покорно и согласно кивал головой.

— Заходите в комнату, — сказал он, когда я назвался. — Сейчас приду, и поговорим...

И вот говорим...

— А зачем вам это? — искренне удивился Баранов. — Все это было и будем поросло!

Я засмеялся:

— Точно. Даже все сроки давности истекли. Но меня, Николай Иванович, не интересуют юридические тонкости этого дела. Просто я думаю, кое-что из того, давнишнего, не умерло совсем и проросло в сегодня...

— В каком смысле? — насторожился Баранов.

— Я думаю, что судили вас троих, а на месте преступления было четверо.

— Почему вы так думаете? — осторожно спросил Баранов. — Откуда вы можете такое знать?

— А я и не знаю. Я же говорю, что просто так думаю. Вы ведь будку с чистильщиком к троллейбусу вместе с Костылиным и Белашом привязали?

— Да, было такое дело, — смущенно улыбнулся Баранов.

— Я не знаю почему, но вы на следствии, а потом и в суде скрыли участие в преступлении Белаша, и мне кажется, он сделал из этого неправильные выводы. Прошло много лет, и он уже освобожден от ответственности. Но мне не хочется, чтобы

он поверил, будто такие вещи можно делать безнаказанно всю жизнь.

Баранов долго думал, морщил лоб, качал головой, тер щеки пальцами, потом сказал:

— Не знаю я там про его выводы, а мужик он дерьмо оказался...

— Я уже об этом начинаю догадываться. А конкретнее?

— Да тут в двух словах не скажешь. Когда я вернулся из колонии, разыскал его. «Пусти, — говорю, — пожить немного». Не хотел я сразу таким голеньким домой возвращаться, думал за неделю-другую обустроить свои дела с пропиской, работой, ну, в общем, все как полагается.

— А он что?

— Я думал, от страха обделается. «Вот, — говорит, — на тебе на первое время, — сто рублей мне сует, — а жить нельзя. Я, мол, с удовольствием, но соседи паршивые, вызовут участкового, и тогда нам хана!» Ну, засмеялся я, конечно. «Убери, — говорю, — рубли твои: я четыре тысячи на аккредитивах привез». И ушел. Он мне вслед кричит: «Позвони, я что-нибудь придумаю!..» Да, денек это было у меня ни фига себе!

— И что стали делать?

— Что делать?.. Тут вот такая штука: вышел я под чистую, с досрочным освобождением, и в колонии я был человеком, ну просто знаменитым — сварщиком седьмого разряда, — сказал Баранов просто. — Работали мы на строительстве газопровода, и моя бригада была нарасхват, где прорыв — нас туда. Вкалывали мы знаменито, конечно, но и заработки были хорошие, последние три года — без конвоя. Доска почета и тому подобное. А тут все вроде снова начинается — с такой статьей до снятия судимости проживание в Москве запрещено, и тебе и тепе.

— Так-так...

— Ага, так... Я к чему это — девушка тут у меня была, Галя. — Баранов кивнул на стену, где в простой рамочке висела фотография — совсем еще молодой парень с короткими, неотрепанными волосами и прозрачными светлыми глазами бережно обнимает за плечи круглолицую девушку со смущенной улыбкой. — Она, — подтвердил Баранов. — Я всю свою жизнь тот день буду помнить.

— А что ж такого в этот день случилось? — улыбнулся я.

— Да случиться ничего не случилось. Просто заехал к Гале, повидались... Говорю ей: «Если можешь, дожись от меня добрых вестей, Галя...» Ладно, уехал я в Конаково — там тогда строили огромную ГРЭС. Ну с моей-то квалификацией там со всей душой приняли. И до Москвы ехать несколько часов. Короче, через год судимость с меня сняли по ходатайству коллектива.

— Дождалась, значит, Галя, — сказал я.

— А она не дожидалась, — радостно засмеялся Баранов. — Как получила от меня письмо из Конакова, так в первую субботу прикатила. «Николай, надо учиться!» — весело передразнил он ее.

— И что, учились?

— А что поделаешь? — развел он руками. — От нее ведь не

отвяжешься, если она себе что в голову вобьет. А она себе вбила, что отвечает за мое перевоспитание. Вот и перевоспитывала до тех пор, пока замуж за меня не вышла.

— А потом перестала?

— Что вы! Продолжает каждый день. — В голосе Баранова прозвучала ласковая гордость.

Как я мог заметить, это был случай семейной гармонии, построенной на добровольном и счастливом подчинении одного из супругов; и я видел, что разговоры, размышления и воспоминания Николая Баранова о его семейной жизни ему были бесконечно приятны, и десять лет совместного проживания не пресытили его скукой однообразия, не выпали досадливым осадком необходимости подчинения чужой воле... И в эту минуту душевной расслабленности Николая, его абсолютной незащищенности, когда был он открыт, как хоккеист, сбросивший с себя доспехи, мне очень не хотелось еще спрашивать о всем том горестном и тяжком, что привело его к этой счастливой семейной жизни, потому что в этом было нарушение правил игры, но и не спрашивать я не мог — ведь я, к сожалению, пришел к нему не в гости, и он был единственным человеком, который мог провести меня по лабиринту забытого прошлого. Но он неожиданно вспомнил сам:

— Да, так мы о Гришке говорили. Собственно, сейчас уже и тайны никакой нет — все сроки прошли, пусть себе живет как хочет. А тогда он действительно был вместе с нами. Если бы ему сейчас что-нибудь грозило за это, я бы говорить не стал.

— Почему?

Баранов пожал плечами:

— Ну как вам сказать? Он свое наказание, считай, отбыл — это ведь не шутка, столько лет в себе такой страх держать. Только навряд ли он лучше стал.

— Почему? — спросил я требовательно.

— Не знаю. — Баранов поморщил лоб и сказал угрюмо: — Пускай не из благодарности, что на следствии про него молчал, а хоть бы как товарищ — ведь не имел он права меня тогда выгонять.

— А почему вы его не называли на следствии?

— Да как теперь это объяснишь? Мы ведь все тогда от глупости своей да беспризорности попали в эту историю. У Гришки мать, конечно, хорошо зарабатывала, зажиточно они жили, только присматривать за ним все равно некому было. А главный воспитатель у нас был Хрюня...

— Хрюня — это Юрий Лопаков?

— Да, Лопаков. Сейчас уже нет таких гусей, да и тогда он выделялся... Было ему лет двадцать пять, и нам, соплякам, ясное дело, он казался прямо героем. Вот он очень любил сидеть с нами на лавочке и рассказывать не спеша всякие лагерные да блатные истории; и, конечно, слушали мы его, разинув рот. С челкой ходил он, под Радж Капура. А песни какие пел блатные! Голос у него хороший был... Не знаю уж почему, но особенно он обхаживал Гришку. Нам с Фатиком — так мы Феликса Костылина звали — Хрюня всегда говорил: «Дурачье вы неотесанное, бросили седьмой класс, всю жизнь будете дерьмовозами, а вот Гришка — молодец, станет ученым человеком,

скрипачом — большие деньги загребет, всю жизнь — барин...» Уважал, в общем, Хрюня Гришку. Когда нас взяли, то по ошибке как-то получилось так в тюрьме, что мы на одной сортировке оказались. Испугались мы с Фатиком, думали: Хрюня нас прикончит, а он подошел и первым делом спрашивает: «Вы, загребанцы, Гришку сдали?» — «Нет еще, — говорим, — не успели». Хрюня вздохнул так это от души и сказал: «Молодцы! Запомните на всю жизнь: настоящий блатной за друга сам скорее погибнет, а его не сдаст. Смотрите, о Гришке ни гугу!»

— Но вы же и сами до этого о Белаше не говорили?

— Тут штука такая — очень мы с Фатиком Гришку любили, он у нас в компании, конечно, был главный. Мы на это дело со страхом пошли, а уж Гришка тем более. Он согласился, потому что не хотел, чтобы Хрюня его стыдил и считал трусом. Поэтому он и пошел.

— А как получилось это все?

— Мы вечером во дворе все трое сидели, трепались. Гришка нам про экзамен рассказывал. Тут как раз Хрюня пришел, достает две бутылки из кармана. «Давайте, — говорит, — вспрыснем Гришкину победу». Нам и пить-то было противно — не привыкли еще, но побоялись Хрюне признаться — мы же вроде взрослые! Выпили по стакану, закусили конфетой «Ромашка», захмелели, конечно. Хрюня нас подначивает: «Слабаки вы, только врать да хвастаться здоровы, а на самом деле трусоватые вы кони». — «Ах, «кони» — давай проверим!» Вот Хрюня и решил нас проверить на квартире Семынина. Жил в нашем доме такой человек, тихий, вежливый, всегда ходил в галстук-киске» и темных очках. Мы его за это Трумэнном прозвали и почему-то считали очень богатым. А потом уж оказалось, что совсем он не богатый, да и вообще несчастный человек. Только узнал уж я это все потом...

— И вы не пробовали отказываться?

Баранов покачал головой.

— Нет. Мы с Фатиком поэтому и приговор не обжаловали — свое, законное, получили. В тот момент нам отказаться было страшнее, чем влезть в пустую квартиру. Нам и наказание-то отвесили в основном за трусость... Да. Так вот, мы с Хрюней пошли в квартиру, а Гришка остался в подъезде — «на стреме».

Видимо, сильно разволновавшись от этих воспоминаний, Баранов встал, походил по комнате, закурил сигарету, потом, не докурив, сломал в пепельнице.

— Сколько лет прошло, а вот помню все до миллиметра. Мы когда оттуда вышли, Фатика вырвало. Как я теперь понимаю, не столько от водки, сколько от испуга. Мы уже были совсем трезвые, и Гришка сказал Хрюне: «Доказал я, что не испугаюсь? И все. И больше с тобой дела не имею». А Хрюня засмеялся: «Брось, Гриша, пар пускать, мы с тобой теперь друзья на всю жизнь, повязала нас теперь бабка Трумэна».

— А что стало с Фатиком?

— Жив, здоров он, в рыболовном флоте на Камчатке работает тралмейстером.

— А Хрюня — Лопаков?

— Не знаю. После суда я его больше никогда не видел.

— Николай Иванович, а вы никогда не задумывались, почему Лопаков так любил и обхаживал Белаша?

Баранов пожал плечами.

— Ну мало ли, может, он ему больше нравился... Не знаю...

Да, этого Баранов не знал, не понимал и не мог понять, как не мог проникнуть в существо много лет назад продуманного плана...

— Ты думаешь, он был способен на такую предусмотрительность? — спросил комиссар.

— Я в этом просто уверен. Баранов говорит, что к тому времени Хрюня был уже трижды судим. Это был опытный уголовник, и «в дело» он взял Белаша только для того, чтобы нацепить его на крюк.

— Но ведь ты сам говоришь, что кое в чем Хрюня отклонялся от знакомых нам форм: помнишь, он стыдил ребят за то, что они не учатся, и приводил им в пример Белаша? Старые уголовники обычно только сбивают ребят с учебы.

— Здесь нет вопроса, — уверенно сказал я. — Хрюня понимал, что ему надо прочно заарканить Белаша, пока тот еще сопьяк и находится под его влиянием. А в успехах Белаша на музыкальном поприще он был кровно заинтересован — мамаша на весь двор кричала, что Гришенька вундеркинд. Значит, с годами Белаш должен был неизбежно обрасти прочными знакомствами среди крупных музыкантов. Представляете, каким незаменным подводчиком для Хрюни мог стать Белаш, находясь постоянно под угрозой разоблачения?

— Поэтому Хрюня и на суде молчал?

— Молчал и категорически запретил упоминать о нем ребятам. Я думаю, он на Белаша сделал ставку в расчете на время своего возвращения.

— А для тебя вопрос с Белашем решен?

Я помолчал, потом утвердительно кивнул:

— Да, я считаю, что он принял участие в похищении скрипки.

Комиссар снял очки, положил их на стол, не спеша полистал бумажки в деле, достал из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой.

— Какую же ты отводишь ему роль?

— Не знаю. Но иногда мне кажется, будто Хрюня — это и есть Яков Крест. А Белаша я подозреваю всерьез.

Комиссар пожал плечами:

— Ну, подозрение — это штука довольно общая, а факты — вполне конкретные. Вот факты эти самые убеждают нас в том, что Белаш был во время кражи в Ленинграде. Сомневаться во всем глупо. Глазам-то своим мы должны верить?

Я не мог понять, проверяет меня комиссар или он действительно так думает. Но что бы он ни думал, мне это сейчас было безразлично — я принял для себя решение, и никто не смог бы меня переубедить или заставить делать что-нибудь другое.

Я и сказал комиссару:

— Если на то пошло, глаза нас всегда обманывают.

— Это как же? — ухмыльнулся комиссар.

— А так: оптический механизм глаза воспринимает мир пе-

ревернутым. А мозг все ставит на свои места. В учебнике физики написано.

— Ты уж прости меня — я последний раз читал его лет тридцать назад. Если бы не ты, совсем бы запамятовал. — Комиссар извиняющимся жестом прижал руки к груди. — И что — прямо-таки все перевернуто?

Я кивнул.

— Серьезный ты человек, Тихонов, — засмеялся комиссар. — А вот как же грудные мальцы — у них надежды на мозг совсем чуть-чуть, а, гляди, за титьку всегда точно хватают?

— Инстинкт. Кроме того, я заметил, что и взрослым, чтобы за титьку ухватиться, много ума не надо, — сказал я и вдруг вспомнил, как Иконников, стоя в дверях, устало сказал: «...Но в тот момент, когда он появляется на свет, ангел ударяет его по устам и заставляет забыть все...»

Ах, глупость какая! Нет ангелов, и нет великого знания, которое могло бы спасти человека. И нет больше Иконникова. И в этот момент я почувствовал себя новорожденным младенцем, которого ударило по устам огромное неведение; я чувствовал, как оно заставляет меня позабыть все, и это все было тоже огромно — под стать моему неведению, и в него вместились старинный инструмент с мальтийским крестом и датой «1722 год», и счастье Белаша на конкурсном экзамене, и душный ужас ребят в квартире, где их встретила бабка Трумэна, и тоскливое отчаяние Трубицына, оказавшегося слабее своего ученика, и заботливо оберегающий Гришку-скрипача рецидивист Хрюня, и бесконечное горестное утомление Иконникова, дописывающего мне свою отходную — завет быть первым сыщиком. Во всем этом неведении был призыв к забвению уже отгремевших и иссякших навсегда событий, но тогда бы мне пришлось признать, что разум и поиски правды не могут принести человеку счастья, то есть зачеркнуть всю свою жизнь, а сделать этого я не мог и не хотел.

Но сказать я ничего не успел, потому что зазвонил телефон. Комиссар снял трубку.

— Да. У меня Тихонов. А что? А-а... Тогда вот что, несите прямо сюда, мы уж заодно вместе посмотрим. Давайте галопом.

Бросил на рычаг трубку и сказал мне:

— Из Центральной картотеки пришел ответ на твой запрос — о судьбе осужденных по этому делу.

— Меня сейчас интересует только Лопаков — Хрюня.

— Вряд ли это Крест. Мельник его описывал старше Хрюни лет на десять.

— Посмотрим.

Комиссар засмеялся:

— А чего смотреть — ты же глазам не веришь.

— Да, — сказал я. — Я верю только разуму.

— Это хорошо, — согласился комиссар. — Нехорошо только, когда начинает заносить куда-нибудь в одну сторону. В нашем деле нужен железный баланс между умом и чувствами.

— Такой баланс в любом деле не мешает.

— Это верно. Только пойдй рассчитай точно — не в аптеке ведь... Вчера вот дочка привела такого лохматого джентльмена.

«Папа, — говорит, — мы решили с Герой пожениться». А у жениха Геры под носом пух с соплями вперемешку. Эх, чушь какая! — Комиссар с досадой и горечью махнул рукой.

Я представил себе процедуру представления такому обходительному тестю, как мой комиссар, и мне стало смешно и немного боязно.

— А вы что сказали?

— «Женитесь, — сказал, — раз решили». А что я еще скажу? Двадцать лет девчонке, она ведь наверняка считает, что не хуже меня в жизни разбирается. А уж про Геру-то этого и говорить нечего, он небось уверен, что мог бы меня многому научить... если б я согласился.

— Нет, вы бы поговорили с ней всерьез, что ли? — сказал я неуверенно.

— Эх, Тихонов, посмотрю я, коли доживу, как ты со своей дочкой на эти темы будешь всерьез разговаривать! О чем? Хаять парня я не могу — не знаю ведь его совсем. Может, он ничего мальчишка? А стану объяснять, что не мешало бы повременить, в жизни осмотреться, они меня на смех подымут.

— Так действительно рановато вроде.

— А ты попробуй им это объяснить. Понимаешь, беда всех людей в том, что они не верят, будто станут со временем много умнее. В каждый сей момент им кажется, будто они уже достигли вершин понимания. Вот и выходит со временем петрушка всякая.

— А если с парнишкой поговорить всерьез? По-мужски?

— Да брось ты! Они ведь, ребята, сейчас выросли очень уверенные, спокойные, Акселераты, елки-палки! В институте учится, а вечером в самодеятельном ансамбле пляшет. Пляшет, — повторил он как-то неуверенно и спросил: — Зачем?

И в глазах его, стальных, пробойных, не было обычной остроты и твердости, а плавала какая-то недоуменная растерянность и абсолютное непонимание — как это здоровый взрослый парень в свободные часы, такие короткие, такие дорогие, пляшет. Зачем?..

Я засмеялся:

— Ничего страшного. Это вместо физкультуры.

Комиссар пожал плечами:

— Не знаю, не понимаю. Сели чай пить, рассказал я ему чуток про нашу работу. Он послушал и подвел итог: «Работа у вас интересная, но какая-то очень сиюминутная, прикладная и с точки зрения футурологии бесперспективная». Вот и говори с ним всерьез...

Я подумал, что в жизни постоянно возникают удивительно нелепые комбинации: комиссар, с ходу, в одно касание, точно выбравший правильную манеру поведения и умевший «разговорить» самого прожженного человека, знавшего огонь и воду, не может найти правильный ключ к разговору с каким-то сопливым пацаном. Правда, те прожженные люди не считали его профессию сиюминутной, бесперспективной и не собирались к нему в зятя.

Дежурный по управлению принес пакет. Комиссар повертел его в руках и протянул мне:



— Ты — инициатор розыска, ты и читай. А я послушаю.

Я стал поспешно разрывать пакет, но плотная коричневая бумага не поддавалась, а только скрипела и мялась. Комиссар придвинул ко мне ножницы:

— Не суетись... Семнадцать лет прошло, минуту еще подождешь.

«...Баранов Николай Иванович... условно-досрочно освобожден...

...Костылин Феликс Сергеевич... условно-досрочно освобожден...

...Лопаков Юрий Митрофанович... во время отбывания наказания совершил новое преступление и был приговорен за грабеж в колонии еще к 10 годам... 18 апреля 1966 года вместе с заключенным Никодимовым совершил побег из мест заключения. Во время погони, предпринятой за преступниками, они пытались перейти по льду Енисей. На реке в это время происходили торошение и передвижка льдов. Когда группа преследования вышла на правый берег Енисея, преступники находились на середине реки. Неожиданно лед под Лопаковым проломился, и он упал в промоину. Никодимов, находившийся рядом, несмотря на отчаянные крики Лопакова, помощи ему не оказал и продолжал движение к левому берегу... Наряд в составе сержанта Коновалова и солдата Апраксина вступил на лед... Через несколько метров лед начал интенсивно ломаться, и полынья между нарядом и Лопаковым стала непреодолимой без плавучих средств. Апраксин разделся и вплавь направился к тонущему Лопакову, однако тот вскоре исчез под кромкой плывущей льдины. Апраксину было приказано вернуться... Заключенный Никодимов добрался до левого берега и скрылся...

Никодимов Данила Спиридонович, 1921 года рождения, ранее судимый Ленинградским военным трибуналом в 1943 году, отбывавший наказание по приговору Мосгорсуда с 1959 года, — объявлен во всесоюзный розыск, и местопребывание его до сих пор не установлено...»

— Хм, однако... — бормотнул комиссар. — Ловкач, видать, этот Данила Спиридоныч...

Включил тумблер на селекторе, загорелась зеленая лампочка, комиссар в микрофон сказал:

— Срочно затребуйте данные на Никодимова Данилу Спиридоновича, самым спешным образом запросите из судебного архива дела о его судимости в 1943 и 1959 годах — Ленвоентрибунал и Мосгорсуд, все оперативные данные, фотографии. Все. По мере поступления материалов передавайте их Тихонову, а мне докладывайте.

Комиссар помял сигарету в руках, и делал он это так энергично, что я боялся, как бы он не растер табак в пыль.

— Вот видишь, давно нет никакого Хрюни, — сказал он.

— А кто его хоронил? — упрямо спросил я. — Это еще надо доказать, что его нет. Зато уж наверняка есть Никодимов.

— Не факт. Из тайги на своих двоих выйти — дело нешуточное. Да от людей по возможности скрываясь. Да четыре года нам на глаза не попасться. Это серьезный коленкор. Тут надо мозговать по-настоящему...

Зазвонил телефон. Комиссар ленивым движением поднял трубку.

— Да. Это я, Елена Сергеевна...

Лаврова? Зачем?..

— Да, у меня. Сидим мозгуем. Вам нечем помочь? Ах так... Ну что ж, милости просим...

Комиссар положил трубку и объяснил:

— У Лавровой есть какие-то важные соображения, сейчас она их нам изложит. Слушай, а Лаврова не замужем?

— Нет. А что?

— Ничего, это я так просто. Наверное, выйдет замуж, уйдет от нас. Какой муж нашу колготу терпеть станет? Бабы — и те бастуют время от времени, а они куда как терпеливее мужей. Жалко, конечно.

— Жалко, — согласился я. — Мы уже с ней сработались.

Отворилась дверь, и вошла Лаврова, не подозревающая, что мы уже распрощались с ней и даже пожалели об этом.

— Добрый день, — сказала она, и я подумал, что Лаврова, здороваясь с комиссаром, никогда не говорит уставного «здравия желаю» — наверное, ей не позволяло чувство женского достоинства.

— День добрый, Елена Сергеевна, — ответил комиссар. — Слушаем вас.

— В резолютивной части приговора пишется: преступников подвергнуть заключению в колонии, имущество возратить потерпевшим, орудия преступления уничтожить или передать в Музей криминалистики. Разговор со Станиславом Павловичем навел меня на мысль посмотреть приговор по делу Лопакова — Баранова — Костылина. И там я нашла, в частности, указание — «...связку ключей и ломик — фомку — уничтожить». Меня заинтересовала фомка. Я стала внимательно читать материалы дела и в протоколе обыска на квартире Лопакова нашла запись: «ломик стальной, зауженный, с расплюснутым концом, в торцевой части две давленные короткие молнии». Вот об этом я и хотела вам рассказать.

— Выводы? Идеи? — спросил комиссар.

— Я предлагаю проверить, не являются ли одним и тем же лицом Хрюня — Лопак и разыскиваемый нами Яков Крест.

Комиссар покачал головой.

— Нет. По-моему, это исключено. А весть вы принесли исключительно важную.

— Если я заблуждаюсь, то почему же моя весть важная? — спросила Лаврова.

— Потому что вы подтвердили нам с Тихоновым другое очень серьезное предположение. А именно — что Яков Крест — это Данила Никодимов. Как думаешь, Стас?

— Как вариант — реально. Особенно если предположить, что еще в колонии, планируя побег, Лопак рассказал Никодимову о своем талантливом воспитаннике и дал — на всякий случай — явку на Мельника. Хрюня ведь не знал еще, что Белаш не станет большим скрипачом...

— Согласен, — кивнул комиссар. — Что собираешься делать?

— Предъявление Мельнику фотографий обоих, срочное изучение по архивным документам личности Никодимова и сразу же — выезд в Ленинград. Белаша больше трогать нельзя ни в коем случае. А мне надо узнать, что он там делал, когда по его наводку «чистили» квартиру Полякова.

— Но ведь у него стопроцентное алиби, — сказала Лаврова.

— У подозреваемого алиби, если в момент преступления он был вместе со мной...

Кроме инспектора Леонидова в Ленинградском уголовном розыске я никого не знал, но ребята встретили меня радушно

и весело; и произошло наше знакомство как-то необычайно легко и естественно — вот так же Буратино узнали и приняли за своего куклы из театра Карабаса. В качестве Пьеро выступал как раз Леонидов, потому что на затаенном мною представлении ему досталось наибольшее количество оплеух — по нашему следственному поручению он проверял маршрут Белаша.

— Сам подумай, — жаловался он. — Приходишь к какому-нибудь народному артисту и начинаешь интересоваться: был тогда-то и тогда-то у вас такой-то гость, что делал и когда ушел? Естественно, для начала он спрашивает: «А ваше какое дело?» Начинаешь объяснять, а дело наше, сам понимаешь, щекотливое. Поговорит он с тобой, поговорит, а потом от сердитости бабахнет начальнику управления жалобу, что его сотрудники ходят по домам, порочат порядочных людей своими вопросами. Ох, беда прямо с этими знаменитыми свидетелями...

— Это у тебя, Женья, с непривычки, — успокоил я. — У меня, к примеру говоря, теперь свидетель в ранге меньше профессора и в расчет не идет...

— Заливаешь, поди? — усомнился Леонидов.

— Заливаю, — признался я. — Но неприятностей хватает. Так что говорят люди?

— Железно подтверждают. Ни одной осечки. В консерватории, в театре, у приятелей по фамилии Медведевы и у профессора Преображенского. Я даже девушку допросил, ту, что на улице Громова проживает. Все их показания сходятся тютелька в тютельку.

Я достал блокнот с записями, посмотрел в нем свои заметки и на всякий случай спросил:

— У кого он был вечером накануне кражи?

— У Преображенского. Профессор с супругой подтвердили, что он сидел у них весь вечер, потом по телефону вызвал такси и поехал к себе в гостиницу. Дежурная по этажу сообщила, что Белаш пришел не очень поздно и попросил разбудить его в восемь часов — об этом есть запись в их книге.

— После этого он мог выйти на улицу незаметно для дежурной? Есть там еще какой-нибудь выход?

Леонидов задумался:

— Мне кажется, что по боковой лестнице можно, минуя дежурную, выйти в ресторан на первом этаже, а там есть проход к парадному. А что?

— А то, что если он сразу вышел на улицу и поехал на аэродром, то через два-три часа он уже был в Москве, на площади Маяковского.

— Не согласен, — возразил Леонидов. — Я уже думал об этом и считаю, что теоретически такой маршрут возможен. Но только до Москвы. А вот оттуда он вернуться к восьми часам утра в свой номер не мог.

— Почему?

— А ты сам посчитай. Допустим, он принимал участие в самой краже...

— Я это уже допустил.

— По твоим словам, вышли они из квартиры около половины первого ночи...

— Это по словам Мельника. Но допустим.

— Добираться обратно он может тремя видами транспорта: самолет, автомобиль и поезд.

— Точно. И что?

— Самолет отпадает. Первый рейс на Ленинград в семь сорок пять — никак не может он успеть к восьми в номер.

— Резонно. Автомобиль?

— Не может. Вот сводка погоды: заморозки до одиннадцати градусов, на почве гололед, туман, высота волны — один метр...

— Ну, это уже ваши ленинградские штучки — высота волны! Не по волнам же он ехать собирался.

Леонидов невозмутимо ответил:

— По гололеду тоже не сильно разгонишься. Ты же ведь сам шофер, знаешь небось — в среднем больше семидесяти по такой погоде не дашь. Так что понадобилось бы ему не меньше десяти часов, и опять же к восьми утра он не попадает в гостиницу.

— А поездка?

— Также не получается. В час пять отходит из Москвы экспресс «Арктика», но в Ленинграде он только в половине десятого. Есть еще несколько московских поездов, но они все или уходят раньше, чем он мог попасть в Москву, или приходят в Ленинград позже восьми.

— Ну что же, — развел я руками. — Значит, его функции ограничились подводом на квартиру Полякова. А поездка в Ленинград была подчеркнутой демонстрацией алиби. Теперь второй вопрос — дело Никодимова...

— Тут вот что... — Леонидов даже зажмурился в ожидании эффекта подготовленного им сюрприза. — Нашел я одного человека...

— Что за человек?

— Он во время войны служил в ОБХСС...

Федор Петрович Долгов, каменного вида старик, говорил тягучим утробным голосом, и, когда он смотрел тебе в лицо пронзительными серо-зелеными глазами, разрисованными красными склеротическими жилками, возникало ощущение, что он гипнотизирует тяжелым рокошущим голосом, и вязкой неподвижностью сердитых глаз, и памятной громоздкостью фигуры.

— Я ведь, если бы не это дело, надо полагать так, в милиции не остался бы, — поведал он мне.

— Почему? — спросил я.

— А то как же? Я пришел-то совсем с неважным настроением — все воюют на фронте, а я здесь, в затишке, с жуликами должен возиться! Я даже так думаю, что тогдашний наш начальник Иван Бодунов меня нарочно кинул на это дело, чтобы у меня личный интерес возник к работе.

— И что, появился интерес? — спросил я.

— Еще бы! Меня, когда я сто мешков муки спасал, искалечило на всю жизнь, а эти гады ползучие у голодных людей последние крохи разворовывали. Ух, сволочи! До сих пор, как вспомню, злость охватывает! Ведь работали мы не то что сейчас. Недоедали, недосыпали, а дело делали как родное. И мазуриков меньше было. Это сейчас придумали — там поруки

всякие, суды товарищеские. Участковый на дружинников полагается более, чем на себя...

— А это разве плохо? — спросил я.

— Чего же хорошего? Ерунда получается, не чувствует человек ответственности за свою должность. Либерализм пустой разводит. А с преступниками не нюжи нужны, а строгость железная! Строгости нет — и баловства от этого много... В мои времена не терпели этого. Сейчас судят убийцу, так он в десяти инстанциях жалость найдет. А я бы его раз — и в расход!..

— Ну, это ты брось, Федор Петрович, устарела такая методика, — сердито сказал Леонидов. — Принципы судопроизводства теперь совсем другие.

— А может, зря? — повернулся к нему всем громадным телом своим Долгов. — Зря, может быть, ко всякой твари жалость имеем? Кабы не пожалели тогда Никодимова, может быть, ты ко мне сейчас не прибежал? А-а? То-то! И никакая это не гуманность, а гнилой либерализм. Этот Никодимов наших людей не хуже немцев убивал!

Я хотел вмешаться в спор, но Леонидов незаметно сделал мне знак — молчи, а то разведем дискуссию до вечера. Тогда я спросил:

— А что он делал-то все-таки?

— Значит, так, началось это все с Никодимова и приятеля его, Паршина. Главным там, конечно, был Паршин, а Никодимов у него на подхвате. В общем, познакомился Никодимов с одной девчонкой, которая работала в типографии Гознака. Парень он был из себя видный, служил каким-то писакой в исполкоме — в сапогах хромовых щеголял, языкастый, веселый — ну и закружил девке мозги. Привел к себе домой и напоил. А пьяная девка, известно, себе не хозяйка. Сбил он ее на блудоход, а потом помыкал как хотел. Вот и уговорил он ее притащить из типографии буквы из шрифтов, которыми продовольственные карточки печатали. Потом втянули подругу этой девчонки — та работала в обрезном цехе, стала она им таскать обрезь водной бумаги...

— Так на обрезе ведь карточку не напечатаешь? — спросил я.

— А они карточки и не печатали — на этом проще было засыпаться. Они печатали только отрывные талоны. Почти год шуровали...

— Разве талоны без корешка принимали? — спросил Леонидов.

— Не спеши, — одернул его Долгов. — Когда талоны они изготовили, то стали вовлекать потихоньку директоров продовольственных магазинов, всяких сук, жадных да продажных. Сдавали такому гаду талоны на два ящика сахара, например; он брал один себе, а другой — им. А пачка сахара — четыреста рублей стоила, буханка хлеба — триста, кило масла — девятьсот. А-а, да что говорить! До тысячи человек в день от голодухи помирал, последнее люди с себя отдавали за краюху хлеба, за кусок сахара. Черви могильные на горе людском, на крови да на слезах жизнь себе развеселую устроили, в золоте купались!

Долгов замолчал, и его стеклянные глаза в красных жилках потемнели, зачугунело его большое изуродованное лицо.

— Когда пошел я к Никодимову на квартиру — брать его, в утро это самое соседская девочка померла. И сам иду — в голове туман, гул от болезни да от слабости, от голодухи постоянной, от кофея эрзацного. Вошел к нему, огляделся — музей пополам с продовольственным складом. Тут тебе хрусталь и шоколад, картины у стены сложены и бочоночек с икрой зернистой, в шкафу — кольца, браслетки, поверишь — зубы золотые в коробочке сложены, булки белые и сало-шпик с тушенкой. В ящике со сливочным маслом триста монет золотых. Сел я на табурет и заплакал. «Фашист ты проклятый, — говорю ему, — ты ведь нам в спину из пулемета молотишь». А он стоит и трясется: «Дозвольте все сдать, только не убивайте...»

— А почему же его не расстреляли? — удивился Леонидов.
— Не знаю. Трибунал шестерым по этому делу дал расстрел. Пятерым просьбу о помиловании отклонили, а Никодимова отправили в штрафбат на передовую. Не знаю, может быть, снизили к его молодости, рассчитывали, что перевоспитается еще под огнем-то. Да, видать, с таким горбом только в могиле исправляться...

— Из кого он происходит, этот Никодимов? — поинтересовался я.

Долгов усмехнулся, его синие запекшиеся губы чуть раздвинулись.

— Из духовных. Его отец был дьячком где-то в станице на Кубани. Потом лишили его папашу духовного звания святого, или как там это у них называется, — обворовал он церковную казну. Это мне сам Никодимов на допросе рассказал. Э, чего говорить — там, где было болото, беспрерывно вода вновь на-течет...

День был солнечный, яркий, морозный. Толстыми гроздьями висел на деревьях иней; он облепил плотно решетку Летнего сада, на Марсовом поле полыхал, стелился желтый язык Вечного огня в каменной чаше, скакал в своем неостановимом порыве позеленевший от окиси Медный всадник, и все вокруг было очень покойно, мирно, тихо. Белым-бело было все вокруг...

— В управление? — спросил Леонидов.

— Нет. В гостиницу «Европейская».

— Зачем? — удивился Леонидов.

— Хочу посмотреть, как там проживал мой друг Белаш.

— Так мы же вроде договорились, что он свое московское алиби доказал?

— Нет, — сказал я упрямо. — Не договорились. Это я просто спорить не стал. А насчет алиби сомневаюсь.

— Тогда объясни хотя бы, — недовольно сказал Леонидов.

— Так мне и объяснять нечего. Я только думаю, что если бы он хотел продемонстрировать свое алиби, то не стал бы ложиться спать спозаранку...

— Во-первых, не такой уж спозаранок, время для него, что-бы спать, вполне подходящее.

— Это для тебя, — желчно сказал я. — Для человека, уставшего после трудового дня и совсем не заботящегося о том, что-бы зафиксировать свое алиби...

— Ну устал-то он не меньше меня. И потом — что же ему еще было делать для этого? — засмеялся Леонидов. — В милиции зарегистрироваться, что ли?

— Хотя бы, — серьезно ответил я. — Ты ведь не знаешь этого парня, а я думаю, что если бы ему надо было подчеркнуть свое алиби, то он скорее всего слегка нахулиганил бы, чтобы попасть в милицию, и на мой вопрос, конфузясь и стыдясь, протянул милицкий документ. Вот так!

— Ну, а если серьезно? — сказал Леонидов.

— А если серьезно, то Белаша с вечера и до восьми утра никто не видел и подтвердить его алиби не может. Вот это для меня серьезно.

Уезжая из гостиницы, я был твердо уверен, что Белаш мог выйти из номера незаметно для дежурного. Его номер был расположен в середине очень длинного коридора с двумя поворотами, причем за вторым поворотом находилась лестница, выходящая в ресторан на первом этаже. Но, к сожалению, мою уверенность нельзя было рассматривать как мало-мальски серьезное доказательство, а это предreshало все остальное: моя поездка в Ленинград выглядела, по существу, безрезультатной. Я попросил Леонидова заказать мне билет на вечерний поезд в Москву. Он отправился в дежурную часть, а я сел за стол, открыл оставленную им папку с материалами по нашим запросам и стал листать протоколы допросов и справки. Вот допрос народного артиста Евгения Константиновича Преображенского: «Г. П. Белаша знаю с наилучшей стороны... безусловно честный... добросовестный... исключительно даровитый мастер... Да, в этот день он провел у нас время с обеда до вечера... Заказал такси и уехал в гостиницу... В половине одиннадцатого позвонил из номера и поблагодарил за гостеприимство... Очень любезный и внимательный человек... Точное время запомнил потому, что через несколько минут по радио должна была начаться трансляция записи Седьмой симфонии Шостаковича под моим управлением... Да, Белаш именно об этом говорил... Он сказал приблизительно следующее: «Сейчас ложусь в постель и буду наслаждаться музыкой со всеми удобствами...»

В половине одиннадцатого Белаш говорил из номера с Преображенским. Значит, на последний самолет он никак не успевал. Последний ТУ вылетает в 22.40. Погоди, погоди! А не является это вот тем подчеркнутым алиби?

Вошел в комнату вечно улыбающийся Леонидов и сказал:

— Твой поезд убывает без пяти двенадцать ночи. Билет в воинской кассе.

— Спасибо, старик. Слушай, а ты не интересовался составом последнего авиарейса?

Леонидов ухмыльнулся еще шире:

— Представь себе, интересовался. Пассажира по фамилии Белаш не значится.

— Хм, может быть, я ломлюсь в открытую дверь? У тебя телефон Центральной диспетчерской такси есть?

— Есть. А зачем?

— Я хочу узнать точно, когда он приехал от Преображен-

ского. Там в журнале заказов регистрируется время подачи машины.

— Пожалуйста. — Леонидов придвинул к себе аппарат, набрал номер и бойким голосом сказал: — Алле, алле, диспетчерская служба такси? Девушка, с вами говорят из уголовного розыска города. Здравствуйте. Нам тут справочка одна понадобилась, вот я передаю товарищу трубку, вы его проинформируйте, пожалуйста.

Я услышал мягкий девичий голос с украинским выговором:

— Слушаю вас, товарищ...

— Я вас попрошу посмотреть журнал заказов за пятнадцатое октября...

— Подождите минутку.

Я слушал, как она ровно и спокойно дышала в трубку, шелестела страницами, где-то там у нее далеко спросил девичий голос: «Окся, ужинать пойдем?», и она ответила в сторону от микрофона: «Постой, сейчас отвечу, и пойдем», и еле слышно пробивался в провод чей-то чужой разговор, потом она сказала:

— Открыла за пятнадцатое.

— Заказ был сделан около двадцати часов по телефону А1-26-75.

— Сейчас посмотрим, — сказала девушка. И снова шелестели страницы, и снова я услышал голос: «Окся, ну ты скоро?», потом она сказала своим мягким, просто меховым голосом:

— От, нашла...

— Так читайте, — сказал я нетерпеливо.

— Заказ принят по телефону А1-26-75 в 20.36. Машина номер 66-52 выслана в 21.35. Уведомление о выходе машины по телефону сделано...

Я записывал на листе бумаги и вдруг увидел, что это обратная сторона протокола допроса Преображенского и прямо под моей запиской в анкетной части протокола четким каллиграфическим почерком Леонидова написано: «Дом. адрес — Литейный проспект, дом 18, кв. 45».

Диспетчер, удивленная моим молчанием, сказала в микрофон:

— Алло, алло!

Получилось у нее: «Халло, халло!»

— Да, да! — крикнул я. — Девушка, а кто работал в этот день на машине 66-52?

— Коля Савушкин...

— ...Следователь — это идеал человека, — сказал таксист Коля Савушкин, решительно отринув мои попытки что-либо возразить ему. — Как только встану на ноги — сразу пойду в юридический. Обожаю эту работу: приезжаешь на место происшествия, а вокруг мертвые трупы, толпа, оцепление и так далее. И ты начинаешь без сна и отдыха...

— Без сна и отдыха нельзя, — осторожно вставил я.

— Не играет значения, — отрубил Коля. — Когда мы с ребятами из дружины выходим в рейд, милиция спокойна...

— Так что насчет пятнадцатого числа? — перебил я.

Савушкин удивленно воззрился на меня, потом в прежнем темпе, хотя и в новом направлении, затараторил:

— Необыкновенно! В этот день неприятности у меня были

нарасхват! Сначала спустил баллон, потом кончился бензин, потом у вокзала схлопотал от контролера предупреждение... Да. А уж потом эта история: у меня определенно было предчувствие, что так просто она не кончится...

— Вы о чем, Савушкин? Какое еще предчувствие? — с трудом вклинился я в поток извергающейся из него информации.

— Как о чем?! Мне же сказали в парке, что вы спрашивали насчет вызова на Литейный, 18. Так я сразу, тогда еще понял, что дело нечисто...

— Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался я.

— Пассажир был очень подозрительный. То есть сначала-то нет, ничего, молодой и разговорчивый, я таких предпочитаю: есть с кем поговорить. Он меня еще, как сейчас помню, сигаретой угостил марки «Рига», с фильтром...

— А как он выглядел? — спросил я исключительно из контрольных соображений.

— Вот этого я не скажу, — сокрушенно бормотнул Савушкин. — Нет, врать не буду, особых примет не запомнил — он же мне только потом показался подозрительным! Так вот, закурили, разговорились — он еще посочувствовал нашему брату шоферам: по городу ездить все труднее, а что будет, когда «Жигули» запустят, — беда-а... Про себя рассказал, что сам музыкант, из Москвы, приехал по делам... У нас, конечно, клиенты разные бывают...

Сообразив, что Савушкин вновь бросится сейчас к обобщениям, я поспешил направить его в правильное русло:

— А что еще говорил наш пассажир?

Савушкин напрягся, собрал мучительные морщинки на невысоком лбу, даже неистребимые веснушки под его глазами потемнели.

— Говорил! — выдохнул он наконец облегченно. — Говорил. «Устал, — говорит, — я как собака, сейчас поднимусь в номер и завалюсь, — говорит, — без задних ног». Помню, я еще ему пожелал с таким легким, ненавязчивым юмором: «Приятных, — говорю, — вам цветных и широкоэкранных сновидений». На том и разошлись.

Савушкин смотрел на меня честно и несколько независимо, с сознанием выполненного гражданского долга, чуть-чуть гордась своим легким, ненавязчивым юмором.

— Все? — спросил я.

— Все, — гордо сказал Савушкин.

— Позвольте, а что же ваши предчувствия? — поинтересовался я, ощущая безнадежность своего вопроса и опасность новых словоижеваний, которые он мог вызвать.

— Предчувствия? — несколько ошарашенно переспросил Савушкин и вдруг, вскочив на ноги, изо всей силы хлопнул себя по лбу. — Тьфу ты, черт, склероз проклятый! Про самое главное забыл! Я ведь, как с ним расплатился, пошел в буфет гостиничный за «Авророй» — я только их курю. Возвращаюсь, поехал. Глядь, у светофора, я на правый поворот пошел, а прямо — «Волга», такси, с моим пассажиром двинулась. «Что, — думаю, — за наваждение? Человек только что «без задних ног» спать собирался и уже на другом такси едет, а меня зачем отпустил? Не понравился я ему, что ли? Нет, — думаю, —

дело нечисто! Номер такси, — думаю, — надо запомнить на всякий случай...»

— Запомнили?!

Савушкин помялся немного, потом смущенно промямлил:

— М-м... частично... Я ведь потом об этом подумал, когда повернул уже...

Я разозлился всерьез и сказал желчно:

— Нет, Савушкин, не бывать вам следователем!

— Товарищ Тихонов, — взмолился неудачливый следопыт. — Я же хотел как лучше. И потом, найти-то эту машину нетрудно.

— Так уж нетрудно?.. — саркастически улыбнулся я.

— Конечно, нетрудно, — сказал Савушкин, на мгновение задумался и вдруг озаренно выпалил: — Всего-то сто машин!

— Это почему еще? — удивился я.

— Второй парк, третья колонна — это же нет вопроса...

— Как нет вопроса? — не понял я.

— Сейчас объясню: первая цифра на номере — это парк, вторая — колонна. Значит, тот номер так и начинался «23». Я это, наверное, невольно усек, по привычке, что ли... Вот только собственный номер машины забыл...

Я моментально прикинул возможности и, оттаяв, как говорится, душою, сказал примирительно:

— Ладно, попробуй на юридический...

— Вас, по-моему, зовут Оксана, — сказал я «обворожительным» телефонным голосом, услышав в трубке уже знакомое «халло». — Снова беспокоят из уголовного розыска...

— Даже знаю зачем, — засмеялась Оксана. — У меня уже Савушкин побывал. Так я вам ничего особенного сказать не могу — разве что вас заинтересует пропажа.

— Какая пропажа? — насторожился я.

— Та в смысле — находка, — пояснила девушка.

— Ничего не понимаю — пропажа, находка! Так пропажа или находка?

— Та в смысле — была у того пассажира — от «Европейской» до аэропорта — пропажа в машине у Сергея Ивановича Могилевского. Сам он сейчас в отпуске, а пропажу сдал в наше бюро находок.

— Не понял. Сергей Иванович — это кто?

— Так шофер наш. Он в рапортчике при находке написал, что пассажир ехал от «Европейской» до аэропорта. В это самое время, что Савушкин говорит. Ну и забыл в машине вещь свою.

— А что за вещь?

— Та не знаю! Сама она железная, вроде скобы, а на деревянной ручке. Ручка очень красивая...

— Спасибо вам большое. Мы немного погодя заедем, посмотрим на вашу находку.

Леонидов с интересом спросил:

— Что за находка?

— А я откуда знаю? Я ведь ее, как и ты, не видел.

Я подвинул к себе протокол допроса Преображенского, еще раз прочитал его и, когда дошел до слов «...ложусь в постель», все понял.

— Слушай, Леонидов, а ведь ему не удалось нас обма-

нуть, — сказал я и потер руками лицо, чтобы встряхнуться перед последним рывком.

— Как прикажешь понимать тебя? — спросил Леонидов, глядя на меня сквозь кольца канцелярских ножниц.

Я засмеялся:

— Не лорнируй меня, пижон. Я понял его комбинацию.

— Весь внимание. Слушаю гипотезу.

— Ты не заметил, где стоит у Преображенского телефон? В коридоре?

— В таких квартирах это называется прихожая. А что?

— Я думаю, что, когда он заказывал такси и называл адрес, вряд ли кто из хозяев прислушивался к его разговору. А уж когда позвонили из диспетчерской и сказали, что машина вышла, — это заметили все. Так он обеспечил себе эту часть алиби — прямо по нотам. Ведь в случае чего — даже таксист подтвердит, что доставил в «Европейскую» музыканта из Москвы, который безумно хотел спать.

— Допустим.

— Ему надо было гарантировать себе машину от гостиницы. Там центр, рядом полно театров и филармония, откуда в это время выходит масса людей, желающих ехать на такси, а у него время было рассчитано по минутам. Поэтому, как я понимаю, он еще раньше заказал себе такси около гостиницы. У него было времени в обрез — пятнадцать минут, пока придет машина, вызванная к Преображенскому, и минут пятнадцать, пока не начнет беспокоиться шофер такси около гостиницы. За это время он доехал до «Европейской», сказал Савушкину, что идет спать, а сам через ресторан вышел на улицу, сел в заказанное такси и помчался в аэропорт. Логично?

— Не совсем. Со звонком Преображенскому неувязочка.

— Увязочка, вполне увязочка. Билет на самолет у него был куплен заранее, поэтому перед самым вылетом он позвонил из автомата и отметил у Преображенского — ложусь в постель и буду слушать вашу музыку. А сам в самолет — и в Москву.

— Прекрасно. А из Москвы? Не забудь, что он вернулся до восьми часов!

— С этим тоже разберемся. Поехали сейчас, посмотрим находку. Мне кажется, я знаю, что это за штука...

ГЛАВА 6. СТО ПРОЦЕНТОВ АЛИБИ

Что может произойти за пятнадцать лет? Много? Мало? Паоло Страдивари стал богат необычайно и очень переживал, что неаполитанской короной ему было отказано в дворянском достоинстве из-за низких занятий его отца. Джузеппе Страдивари был пожалован в звание коадьютора святого Ордена Иисуса.

Франческо и Омобоно Страдивари по-прежнему готовили отдельные части к скрипкам своего отца и ремонтировали старые инструменты.

Антонио Страдивари строил новые скрипки.

Веселый француз Дювернуа — купец и посредник — умер от грудной жабы.

Отец Джузеппе Гварнери помогал сыну.

А Дель-Джезу получил свободу.

Пятнадцать лет строил он скрипки, искал новые конструкции и формы, менял разрезы дерева, его сушку и пропитку, бился с непослушными и непонятными лаками. Он уже испортил двадцать три инструмента, когда решил, что понял секрет красоты скрипок Страдивари. Дель-Джезу стал вываривать дерево в льняном масле, и красоты они были неслыханной, но звук вскоре потускнел и погас.

Выбирая конструкции, он начисто зачеркнул все, что сделал Амати, и сразу начал с того, чего достиг на склоне лет Страдивари: самая маленькая скрипка Дель-Джезу была больше, чем «Аллонж» Страдивари. Решительным надрезом он высекал на деках длинные острые готические эфы. Скрипки его были длинны, и покаты, и походили на океанские фрегаты.

Он не знал, что Страдивари полвека назад нашел для своего лака сок зуфорбия маршаллиана, и в долгих мучительных поисках пришел к новому решению: лучший консервант и отражатель звука — молочный сок бразильских фикусовых пальм. Толстым слоем он наносил бесцветный лак на дерево, а сверху покрывал тонкой пленкой цветного, и нижний слой просвечивал сквозь верхний, как фольга, и вся скрипка сияла радостным тонким светом.

Скрипки свои долго сушил Дель-Джезу, потом насыпал внутрь разогретый овес и тщательно, долго чистил, а потом обыгрывал инструмент, поскольку был уверен, что у новой скрипки звук еще не вошел в силу, он еще неподвижный, сырой, он еще затуманен и дремлет.

А когда скрипка бывала совсем готова, приходил монах и забирал ее.

Как в турецкий плен уводили детища его, и больше никогда Дель-Джезу не слышал голосов своих скрипок. Господи, за что же такая мука?! И не видно было этому ни конца ни края, потому что пятнадцать лет текут очень медленно...

За делами не успел Дель-Джезу жениться — сначала было недосуг, а потом уже поздно. И внимания его не искали кремонские девицы — кому нужен тщедушный, головастый урод, блаженный дурачок, торчащий с утра до заката в мастерской?

Он ел что случалось, а случалась обычно жидкая похлебка, овечий сыр да кукурузная каша. И одет был скудно и неряшливо. Ходил сутулясь, нелепой, дергающейся походкой, наклонив низко тяжелую голову и в задумчивости держась за длинную рыжеватую бороду, отчего стал совсем похож на карлика из бродячего цирка Эспозито. Людей дичился и, когда с ним разговаривали, застенчиво смотрел в сторону, будто сделал что-то дурное или боялся, что прибудут. Говорить с людьми стало мукой, ибо единственное, что он мог рассказать им, — это какой волшебный сад звуков цветет вокруг, и достаточно взять в руки скрипку, чтобы стала она надежным другом в этом искрящемся, бушующем и пенном океане. Но больше ни о чем он не мог рассказать людям, потому что изо дня в день гнулся над верстаком, нигде не бывал и никого не видел, а потому совсем ничего не знал, и говорить с ним никому не хотелось, и от этого он не мог никому рассказать про сказочный мир

звуков, в котором поселился навсегда. А люди? Люди смеялись над ним и дразнили: «Дель-Джезу — деревянная душа...»

И все, о чем он думал в одиночестве, о чем мечтал наедине, что напевал тихонечко во время работы, снилось ему по ночам в долгих, ярких, задумчивых снах, которые вставали из глубин дремлющей памяти, как из морской пучины вздымаются прекрасные и хрупкие миражи. В снах были звуки, движение, цвет, форма — они сулили отдохновение и покой, в них бушевала сила и красота жизни. И звучали удивительные мелодии, и каждый звук жил отдельно, и Дель-Джезу точно помнил во сне звук наливающейся солнцем капли росы, шелест сосновых иголок, тихий треск лопающихся каштанов, ток крови в молодом здоровом теле, свистящий шелест рек, протяжный резкий крик орлов и синий звон альпийских льдов, во сне дребезжали колокола и грохотал прибой, с визгом и ржанием катилась мусульманская конница, и тяжело гудел пушечный гром, пели люди, могучие великаны, метались птицы, и плыл зеленый плеск подводных рыб. Мир был громаден, могуч и свободен, и он был никем не заселен, не занят — в нем хватило бы места для всех, но пока в нем нашел себе одинокий приют лишь маленький Дель-Джезу, больной и нищий.

И об этом сказочном богатстве подвластного ему радостного мира заговорили скрипки Дель-Джезу — всем имеющим уши. Скрипки Дель-Джезу, золотистые великаны, длинные, стройные красавицы, простодушные и гостеприимные, они кричали могучими голосами:

«Люди, нас прислал наш отец, добрый властитель волшебного мира! Мы приглашаем вас, отец повелел нам служить вам, люди, долгие столетия! Люди, мы — ваши, слушайте нас, мы счастливы служить вам!»

Но никто не слышал их, а может быть, и не слушал. И они кричали с тоской и с горечью:

«Наш отец в неволе у злых дураков! Помогите освободить его — и он откроет еще много волшебных миров счастья! Люди, ему же совсем ничего не надо, только капельку свободы!»

Но ответом было молчание. И с болью и гневом, голосами, страстными, рвущимися от отчаяния, они просили о милосердии:

«Наш отец болен! Он скоро умрет и не успеет сделать виолончель, которую мечтал построить всю жизнь! У него нет времени сделать хоть один инструмент для себя! Помилосердствуйте! Все, что было у него, он отдал вам, люди. Неужели всей силы и богатства мира не хватит, чтобы помочь больному, нищему гению? Помогите-и-те-е!»

Их голоса неслись уже по всей Европе, но только эхо возвращалось искаженное, злое, насмешливое...

«Это скрипки покойного старика Гварнери? Он совсем сошел с ума — это не скрипка, а барабан. Грубые, буйные звуки для простолоудинов. На них можно играть только на площади перед толпой...»

«Ну где же вы, братья гения? Где вы — Гайдн, Моцарт и Госсек? Где вы — Пуньяни, Паганини, Гавинье? Придите на помощь: в тоске и нищете гений раздает свой талант — по дукату за скрипку отбирают долг иезуиты. Расскажите миру о гении, расскажите, что он еще не умер, и эти волшебные, плывущие через

вечность корабли сделал он, а не покойный дед Андреа! Времени осталось совсем мало, хотя он согласен подождать. Сколько?..»

«Век. Или два».

«Век? Нет, поздно. Он будет жить всего несколько лет. Вам останутся только его дети — его скрипки. Позаботьтесь хотя бы восславить имя Гварнери рядом с вашими именами».

«Мы обещаем...»

А сегодня день свободы. Кончилось рабство у иезуитов. Джузеппе Страдивари, коадьютор святого ордена, засмеялся длинным, жестким, как напильник, смешком.

— Нет, Дель-Джезу, ты будешь с нами до самой смерти...

Дель-Джезу рассеянно подергал себя за бороду, задумчиво сказал:

— Нет, не буду. И зовут меня теперь только Гварнери. Нет больше никакого Дель-Джезу.

— Дель-Джезу умрет вместе с Джузеппе Гварнери, — покачал головой монах. — Ты стал строптив и дерзок. Мои люди сказали, что ты отдал вчера скрипку бродяге. Это правда?

— Да, — кивнул огромной головой Гварнери.

— И написал в ней слова поклонения Антонио Страдивари, которого называл своим учителем. Это правда?

— Правда.

— Ты будешь наказан.

— У вас нет сил наказать меня, — грустно усмехнулся Гварнери. — У каторжника можно отнять только цепь.

— И еще кров и еду, — спокойно молвил монах.

— Я вам больше ничего не должен, — сказал устало Гварнери.



— Ошибаешься. Ты не выполнил договор — скрипки твои не покупают. Судья выселит тебя из дома.

— Кому нужна такая хибарка? — поднял черные печальные глаза Гварнери.

— Только тебе. Вот тебя мы и лишим ее...

Антонио Страдивари, великий мастер! Разве ты не слышишь совсем близко стенания горя? Разве ослаб твой зоркий глаз и ты не видишь, как твой черный выкормыш душит сына сердца твоего?

Нет, стар, совсем стар Антонио Страдивари. В девяносто лет, если рука еще тверда, а глаз светел, надо спешить, надо строить свои последние скрипки — корабли в далекое завтра, которое скрыто от нас горизонтом нынешнего дня. И последняя земная забота — надо купить, продается недорого, прекрасный мраморный склеп семейства Виллани в часовне церкви святого Доменика и велеть счистить с камня их имена. Надо приготовить себе место последнего упокоения...

Антонио Страдивари, великий мастер, зачем тебе мраморный склеп, когда сын мечты твоей, продолжатель помыслов и жизни твоей, мастер Джузеппе Гварнери Дель-Джезу спит под забором, выхаркивая с кровью куски легких?

Но Антонио Страдивари уже ничего не слышит, он совсем оглох и звуки своих скрипок ощущает только пальцами...

* * *

Находка в машине таксиста Сергея Ивановича Могилевского, которая, по словам диспетчера, была железякой вроде скобы с деревянной ручкой, оказалась камертоном. Это была старинная антикварная вещь: черно-синие ножки из инвара, деревянная, отполированная тысячами прикосновений ручка с еле заметными на ней неглубоко прорезанными буквами «П. И.». Я ехал с Ленинградского вокзала домой к Раисе Никоновне Филоновой и держал в руках камертон. Когда я легонько ударял пальцами по нему, он издавал долгий поющий звук. Я подносил поющий камертон к уху, и звук усиливался, он гудел, пел низко и взволнованно; и, может быть, потому, что я ничего не понимаю в музыке, мне казалось, что в этом однообразном гудении слышны колокола судьбы, тягучее бормотание Мельника, стремительный ветер мелодии, которую играл мне больной Поляков на прекрасном «вильоме», который был все-таки хуже «страдивари», и мне слышался в нем грохот катящейся по мостовой будки с перепуганным айсором, и взволнованные «так ска-ть» учителя Трубицына, безмолвный ужас бабки Трумэна, тупое оцепенение ребят, неожиданно для себя в одно мгновение ставших соучастниками убийства, и радостный крик души Белаша в конкурсном концерте Прокофьева, грохот ломающихся льдин, и жуткий животный вопль тонущего Хрюни — Лопакова, и хриплое дыхание бегущего среди разводий Никодимова, и шипение голубого крайта, приготовившегося для смертельного броска, усталый голос Иконникова: «Вы еще совсем мальчик...»

— Да, мне знакома эта вещь, — сказала Раиса Никоновна. — Этот камертон несколько лет назад Павел Петрович подарил Грише Белашу.

За несколько недель, которые я ее не видел, она стала совсем старой. Бессильно подергивалась голова, нервный тик сводил глаз, лицо потемнело, припухло, почти все время были прикрыты веки, и одна за другой стекали из-под ресниц слабые старческие слезы.

В комнате чисто, но по какому-то еле уловимому беспорядку видно, что убиралась здесь не хозяйка. Остро пахло сердечными каплями, от запаха нашатырного спирта и уксуса кружилась голова. На маленькой немецкой люстре — креп, траурная лента свисает с портрета Иконникова. Здесь, рисованный, еще живой, Иконников — сильный, властный, почти всемогущий.

— А Григорий Петрович к вам не заходит?

— Нет, — покачала Филонова головой. — Он боится.

— Чего?

— Он боится, что я буду обременять его разговорами о Павле Петровиче.

— Почему вы так думаете?

— Не знаю... У Павла Петровича был друг — гроссмейстер по шахматам, они иногда играли. И Павел Петрович у него нередко выигрывал.

Я не понял и переспросил:

— И что? Какая связь?

Филонова мельком взглянула на меня и опустила глаза.

— Нет, ничего... Просто дело в том, что Павел Петрович довольно средне играл в шахматы. Его мог обыграть совсем несильный игрок. А вот у гроссмейстера он выигрывал.

Я все равно не уловил ее мысль, а мне очень хотелось понять, что она имеет в виду. Я сказал как можно мягче:

— Раиса Никоновна, объясните мне, что вы хотели сказать. Почему он выигрывал у гроссмейстера?

Снова выкатилась из-под ресницы слеза; она не спеша вытерла ее платочком.

— Он очень хорошо знал своего друга и всегда точно угадывал ход его мысли, и гроссмейстер часто не мог перехитрить его. А заурядный игрок, которого Павел Петрович не знал, — мог.

— Вы хотите сказать, что Павел Петрович не смог обыграть Белаша?

— Нет. Я это применительно к себе сказала. Я совсем не умею разбираться в людях, а это искусство потруднее шахматного. Но за много лет я так хорошо узнала Белаша, что он — гроссмейстер — не смог меня перехитрить. Хотя меня может обмануть всякий. Вы вот тоже надо мной подшутили...

— Раиса Никоновна, вы же простили меня. Я очень хотел сделать как лучше...

— Бог с вами. Это все пустое. Вообще, какое это все имеет значение? Я ведь и про Гришу просто так сказала, к слову...

— А в чем он хотел вас перехитрить?

— Гриша хотел всем показать, что он добрый и хороший человек. А меня он считал глупой и ничтожной и поэтому не старался создавать у меня хорошее впечатление о себе. И я по-

степенно поняла, что он зол, очень утомлен и почти всегда напуган.

— А вы говорили об этом с Павлом Петровичем?

— Что вы! Как можно? Павел Петрович его любил — значит, это и меня устраивало. Так надеялся Павел Петрович на него! Он мечтал сделать из него великого музыканта. Большого, чем Лев Осипович Поляков.

— Чем Поляков?! — переспросил я.

— Да, — просто и тихо сказала Филонова. — Некоторые думали, что Паша завидует Полякову. А ведь это было совсем не так. Он мечтал воспитать музыканта еще большего масштаба, чем Поляков, потому что рассматривал Льва Осиповича как мерило дарования и трудолюбия. И в этом надеялся найти свое искупление перед искусством. Он ведь умер вовсе не из страха перед скандалом...

— А почему?

— Не знаю, но мне кажется, его убило что-то зачеркнувшее всю его жизнь. А такое могло исходить только от Белаша: у Павла Петровича не было большей жизненной привязанности... Сколько я его знала, он лишь однажды был в таком же состоянии, как незадолго перед смертью.

— А что вызвало это состояние?

— Вы ведь знаете, наверное, что наши выдающиеся музыканты играют на прекрасных старинных инструментах, которым нет цены. Вручаются они по специальному акту правительства. И вот, когда Павел Петрович твердо решил покончить с музыкой, он пошел и сам, понимаете — сам, ему никто не говорил об этом, пошел и сдал инструмент. У него был изумительного звука «гварнери». И он сдал его. А для скрипача это как... ну... нет, я не могу подобрать примера...

— Н-да... — сказал комиссар. — У каждой загадки на конце разгадка, да только до правды семь верст, и все лесом...

Комиссар покрутил в руках камертон, щелкнул по нему пальцем, прислушался к низкому ровному гудению, поднес его близко к уху, потом резко положил на стол. Камертон слабо звякнул и утих.

— Слушай, а как же он не зазвенел на полу машины?

— А он не упал на пол. Белаш выронил его из кармана на заднее сиденье. Там его и нашел таксист после смены.

— Торопился, видно, сильно Белаш. А как же с поездом назад?

— С поездом? Очень просто. Ведь в Ленинград ездят с Ленинградского вокзала, так?

— Так.

— Вот то-то и оно. Мы тоже все время думали, что он поедет назад с Ленинградского вокзала московским поездом — это само собой разумеется. А они решили вопрос остроумнее во всех отношениях.

— Ты так радуешься их остроумию, будто они в КВН выступали, — усмехнулся комиссар.

— Я не их остроумию радуюсь, а своему. Ведь я их шарады все-таки решил?

— Тебе по должности полагается, — дрогнул бровью комиссар. — Так что они состроумничали?

— В один час двенадцать минут на Курском вокзале останавливается скорый поезд Ереван — Мурманск, следующий через Ленинград. Они об этом знали заранее, и билет у Белаша был готов. В час двадцать он уже тронулся на север, в семь тридцать пять прибыл в Ленинград, через пятнадцать минут сидел в номере у телефона и ждал звонка дежурной. Кроме времени маршрута поезда, в этом был еще один резон — ночной проходной поезд, все спят, темно, никто и в глаза разглядеть Белаша не мог.

— Хорошо они рассчитали, — покачал головой комиссар. — Ловкие, сволочи... Ты за ним сам поедешь?

— Нет. Я его вызвал по телефону.

— По телефону? — удивился комиссар. — А если догадается и сбежит?

— Не сбежит. Куда ему бежать?

— Смотри... Ты же не медведь, должен все предусмотреть.

— А что медведь? — спросил я.

— Да это в тех местах, где я родился, так говорили: медведь дуги гнет — не парит, а ломает — не тужит. Тебе будет о чем тужить.

— Хорошо, — сказал я, взял со стола камертон и пошел к себе.

У дверей моего кабинета дожидался Белаш. Мы поздоровались, и по тому, что он не подал руки, я сразу почувствовал, что он догадывается, зачем я его вызвал.

Вошли в кабинет, сели к столу. Белаш достал пачку сигарет, одну закурил; и все время он смотрел мимо меня в окно, и в глазах его не было ни тоски, ни страха, ни злости — ничего не было. Мы долго молчали, и ему было легче, потому что у него было хоть какое-то занятие, он курил. А я просто молчал и смотрел на него; а когда заговорил, голос мой звучал хрипло и неуверенно:

— Григорий Петрович, вы ничего не хотите мне рассказать?

Белаш, не поворачиваясь ко мне, все так же неотрывно глядя в окно, сказал:

— Нет. Не хочу. Да и говорить мне нечего.

Я хотел переложить камертон из кармана в ящик стола и нечаянно задел им лампу на столе. Камертон низко и длинно загудел. Белаш резко, рывком повернулся на этот звенящий звук и увидел в моих руках камертон.

— Нашелся все-таки, — сказал он так, будто забыл его у меня дома, и целый вечер мы вдвоем безуспешно проискали его, и вот сегодня я нашел и принес ему.

И от этого спокойствия я пришел в себя.

— Если вам нечего мне сказать, я предъявляю вам обвинение в краже скрипки «страдивари» из квартиры профессора Полякова. Вы согласны с предъявленным вам обвинением?

Белаш наконец оторвал взгляд от камертона, посмотрел на меня совершенно прозрачными, пустыми глазами и смотрел на меня долго, будто собираясь с мыслями или пытаюсь рассмотреть меня на сером фоне стены. Потом устало сказал:

— Да, согласен...

Наступила тишина — томительная, тягучая, пустая. Не было в этой тишине противоборства мыслей, бесшумного скрежета злобы, изнуряющего оцепенения страха. Я был уверен, что Белаш даст мне бой по всем правилам, что он будет биться за каждый вопрос, за каждое слово. А он вдруг коротко ответил: «Да, согласен...»

— Расскажите, как это произошло? — спросил я.

Он отрицательно покачал головой:

— Нет, сейчас не могу. Я очень устал. Я нечеловечески устал. Я много месяцев ночь за ночью, день за днем не сплю. Иногда, если случается ненадолго задремать, мне сразу снится ваше лицо. Не Крест, и не Иконников, и не Поляков. Мне снится вы, и я вас так ненавижу, что у меня кружится голова...

Долгая пауза плыла по комнате, потом я сказал:

— Значит, вы так ничего и не поняли во всей этой истории. А тут было над чем подумать...

— Может быть, — сказал Белаш и прикрыл глаза, опустились его припухшие, чуть синеватые веки с длинными ресницами. — С того момента, когда мы впервые встретились, я понял, что вы — серый и злой мужлан — моя судьба. Куда я ни пытался дернуться, куда ни сунусь — вы уже здесь побывали, поговорили, все выяснили, и каждый день я чувствовал, как вы затягиваете на моей шее удавку. Сегодня вы можете радоваться: я сдался — больше не могу, я устал. Вы загнали меня в западню, как зверя. Радуйтесь! Что же вы сидите с постным лицом?

Человек выгорел изнутри от страха и непрерывного напряжения, как танк, в который попал термитный снаряд. Ужасно... И говорить с ним сейчас бесполезно. Белаш открыл глаза, пристально посмотрел на меня и сказал:

— Когда-то в разговоре со мной вы вспомнили Минотавра, хотя и не знали, что Минотавр — это я. И тем самым выдали мне оправдание. Минотавр не виноват, что родился чудовищем, и пожирал других он потому, что хотел есть. А теперь я больше не буду с вами говорить, отправьте меня в камеру. Я очень устал, я очень хочу спать...

— Хорошо. Один вопрос — где скрипка?

Белаш посмотрел на меня пустыми, прозрачными глазами, смотрел так, будто мы расстаемся на всю жизнь и он покрепче хочет запомнить меня, потом тихо засмеялся, истерическая улыбка раздирала ему губы, а в глазах прыгали пятна безумия, и он смеялся все громче и надрывнее, и что-то старался сказать сквозь этот ненормальный, сотрясающий его всего, как в ознобе, хохот, но слова не вылетали из сведенного судорогой рта, он захлебывался ими, давился, они раскалывались на части, вылетая бесформенными, бессмысленными звуками отчаяния и злорадного испуга; и мне кажется, я в жизни не видел более страшного зрелища, чем это припадочное веселье связанного Минотавра. И сквозь эти булькающие, всхлипывающие, подвывающие звуки я, наконец, разобрал:

— Скрипка?.. Я — же — вам — го-во-рил — «стра-ди-вари» воруют — чтоб — не по-па-даться... Нет!.. У меня нет скрипки! И не было...

ГЛАВА 7. ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА—ЕГО СУДЬБА

Шестерка белых лошадей везла катафалк к часовне церкви святого Доменика. Сзади, тяжело печатая шаг, маршировала рота кирасир. Усохший, лысый, очень прямой, шел за гробом отца монсиньор Джузеппе Страдивари, и сухие, синие губы его благочестиво возносили молитву, а пальцы быстро-быстро перебирали четки. И горько, сердито плачущие Франческо и Омобони: в мастерской отца они нашли только счета за скрипки и ни одной, ни одной записочки о его тайных секретах, и последнее их надежды разрушила огромная куча бумажного пепла в очаге бурбарта.

И все почтенные и почтенные горожане достойного тихого города Кремоны шли в траурной процессии, и вкрадчиво, неназойливо плыли над ними в полдневной тишине удары монастырского колокола: бам-м, бам-м, бам-м...

Сыновья умершего великого мастера были озабочены разделом наследства; солдаты думали о том, что сегодня, возможно, дадут много хорошего вина; горожане настороженно оглядывались — не выглядят ли они хуже других. И только сутулый головастый человечек в нищей, рваной одежде, оттертый в самый хвост процессии, плакал искренне, от души о том человеке, которого положат сейчас под мраморную плиту с надписью: «Благородный Антониус Страдивариус скончался на 94-м году славной и благочестивой жизни».

Возгласили гремящее «амен», и солнце почернело, метнулось пойманной птицей среди облаков — дайте проститься с гением! Но все отталкивают, пихают в бока, шпыняют взащей его, грязного бродягу, сумасшедшего, который пришел на похороны Страдивари со своей скрипкой. Пустите!.. Но каменные локти, железные спины, гранитные затылки стоят стеной, и не слабому, хрипло дышащему человеку бороться с ними.

Да и зачем? Дель-Джезу выходит на дрожащих своих ногах и долго, судорожно кашляет. Его, Дель-Джезу, давно уже нет. Растоптали, заплели, лишили чести злым хохотом невежд.

— ...Дель-Джезу, ты откуда взялся, ты же ведь сидишь в тюрьме?!

— Я никогда не делал ничего плохого, и в тюрьме я не бывал.

— Не ври, все знают, что ты за воровство сидел в тюрьме и наводнил Кремону скрипками, сделанными топором...

— Я никогда не был вором, и в Кремоне нет моих скрипок. Злые люди ставят на ужасных инструментах мой знак, чтобы лишить меня чести и на моем бесчестье разбогатеть...

— Не ври, Дель-Джезу, все говорят, что ты в тюрьме — почетный гость. А если говорят, значит — знают...

— За что сидеть мне в тюрьме? Я мухи в жизни не обидел, и крошки я чужой не взял...

— Тогда зачем святая церковь всех предостерегает — знакомство или дружбу не водить с тобой?

— Они мне мстят.

— Не упорствуй, Дель-Джезу! Преклони колени перед церковью, покаяйся — и прощен будешь.

— Мне не в чем каяться — я делаю доброе.



— Ха-ха-ха! Все знают, что ты почти ослеп в тюрьме, и от тюрьмы твоя чахотка...

— Клевещут на меня. Я потерял здоровье, создавая красоту, которая способна мир воспеть...

— Так покажи нам красоту! Ха-ха-ха-ха!..

Гварнери поднял скрипку, достал из-под полы смычок, провел им по струнам. Скрипка будто сделана в один день, в один миг, на одном вздохе, одним взглядом и прикосновением — так много в ней свежести и легкого дыхания. И вся она — сияние, будто не строгали ее, не пилили, не клеили, не красили, не лакировали. Будто Гварнери только представил ее себе на мгновение — и в ту же секунду она родилась. Будто подхватил на лету два осенних дубовых листка, сложил — и свершилось чудо.

И звук ее необычен — напряженный по силе, насыщенный, как солнечный свет, он так богат, мудр и могуч, этот необыкновенный, чарующий звук, — все притихли.

И пошел Гварнери по дороге, играя на скрипке, и никто его не удерживал, и никто не кричал обидных слов.

Маленький, сгорбленный, с огромной головой, шел он по дороге и играл для себя, для всех, будто магической силой своего заколдованного инструмента вызывал из марева будущего тех людей, для кого он прожил свою тягостную и светлую жизнь. Ни на кого он не сердился, ни на что не досадовал, ибо постиг всем существом своим, что гений — это добрая мудрость серд-

ца. Не нужно ему богатство, поскольку нет большего богатства, чем радость трудного свершения. Не нужны ему почести, поскольку сам судит себя за достойное, а постыдного не совершит. Только любовь нужна гению для счастья да немножко человеческой благодарности. Пусть хоть через век...

* * *

— Я тебя понимаю, — сказал комиссар. — Но он вор. И от того, что истекли сроки давности по старому производству, он преступником быть не перестал.

— Я знаю.

Комиссар посмотрел на меня поверх очков.

— Тебе жалко его?

— Трудно сказать. Мы ведь выросли на соседних улицах — могли бы быть товарищами.

— Он бы тебя обязательно предал, кабы товарищами стали.

— А может, все сложилось бы по-другому?

Комиссар покачал головой.

— Диалектику поведения определяют наши поступки. Он ведь не демон, а обычный человек. Он нес в себе груз нераскаянного преступления. И в каждой острой ситуации инстинкт самосохранения был бы все сильнее, а совесть все тише... и сговорчивее.

Я хотел сказать, что в тюрьму уходит очень умный, одаренный человек и это ужасно неправильно — не то, что он уходит в тюрьму, а то, что он сделал и за это многие годы проведет в неволе — с насильниками, грабителями и убийцами. Но тут вошел дежурный и доложил:

— Арестованный доставлен...

— Давайте, — кивнул комиссар.

Дверь отворилась, и два милиционера ввели Белаша.

— Свободны, — сказал комиссар конвою. — А вы, гражданин Белаш, садитесь. Будем говорить...

— А вы уверены, что я буду говорить? — с вызовом спросил Белаш.

— И не сомневаюсь даже ни на минуточку. Это вы сейчас чувствуете себя таким гордым несчастным созданием, вроде Франкенштейна, а пройдет чуть-чуть времени, и вы начнете бороться за каждый месяц скидки с полагающегося вам срока... И я считаю это правильным, — неожиданно резюмировал комиссар. — Потому что человеку место на свободе, а не в тюрьме, особенно если он все осознал и понял, как ему надо дальше жить...

Белаш опустил голову и сказал:

— В этом есть определенный резон. Что вас интересует?

— Интересует нас все. А начнем мы с того, как вы, позвонив из аэропорта профессору Преображенскому, отправились в Москву.

— Пожалуйста. — Белаш мельком взглянул на меня и начал рассказывать: — Самолет прилетел по расписанию, я сел в такси и в двадцать минут первого уже был на площади Маяковско-

го, где меня ждали Крест и этот мужик, которого я встретил на допросе у нашего друга Тихонова...

— Вы свет в квартире зажигали? — задал вопрос комиссар. — Боже упаси! — с каким-то испугом сказал Белаш. — Да мне и не надо было — я бывал там много раз и ориентировался совершенно свободно. Я сразу прошел в кабинет и ломиком, который мне дал Крест, легко открыл секретер...

— Сколько времени заняла вся эта процедура? — поинтересовался комиссар.

— В квартире я находился две-три минуты, не больше. Вышел на улицу, сел в машину. Крест отпустил этого человека, и мы поехали на Курский вокзал. До прихода ереванского поезда оставалось несколько минут. На площади перед вокзалом я отдал Кресту чехол со скрипкой, и он спросил меня еще: «Инструмент не перепутал?» Я ничего не ответил, вылез из машины. Крест протянул мне билет и пачку завернутых в газету денег. Сказал, что разыщет меня, дал газ и уехал. А я отправился в Ленинград. Вот и все...

— «Вот и все...» — повторил комиссар и спросил: — Вам рассказал Крест об участии Хрюни-Лопакова?

— Он сказал, что Хрюня должен скоро выйти и послал его пока сбить кое-какую копейку для жизни на свободе. Мол, пришла пора расплатиться за старый долг.

— Н-да... — покачал головой комиссар. — Обманул вас компаньон...

— То есть как обманул? — поднял голову Белаш.

— Хрюня умер около четырех лет назад.

— Умер? — повторил побелевшими губами Белаш. — Умер?.. Значит, меня преследовал призрак?

— Выходит, что так, — сказал я. — Но и здесь ошибка, Григорий Петрович. Не призрак Хрюни — вас преследовал призрак убитой старухи Семьиной.

Белаш посмотрел на меня, перевел снова взгляд на комиссара и растерянно пробормотал:

— И все эти страдания... все это... движение без цели, как... петух с отрубленной головой?

— Да, именно так, — сказал комиссар.

Белаш еще мгновение смотрел на нас невидящими белыми глазами, потом сказал медленно, и слова отдельно падали, как камни на пол:

— Будьте вы все прокляты!..

Комиссар криво усмехнулся.

— Нас-то вы зря проклиняете. Такая уж работа у нас — раздать всем должное: кесарю — кесарево, слесарю — слесарево. А типчик вы интересный — эгоизм у вас прямо какой-то болезненный. Все у вас виноваты: и Хрюня, и Крест, и Тихонов, и я. А сами-то вы как себя чувствуете? Вроде агнцем безвинным? Так это неправильно...

— А что правильно? — с яростью спросил Белаш.

— Человеком надо быть порядочным. Вот это правильно, — тихо сказал комиссар. — И это иногда труднее, чем семнадцать лет от закона прятаться. Кресту идею насчет скрипки вы, наверное, подали?

Белаш кивнул.

— Вот Тихонов думает, что он вас насквозь изучил. А я полагаю, что он заблуждается.

Мы с Белашом одновременно подняли взгляд на комиссара. Он усмехнулся.

— Видите, Белаш, он не меньше вашего изумлен. Но у него это оттого, что никак он не может еще перейти через барьер хорошего отношения к вам. А мне вы очень давно не нравитесь, поскольку я понял вашу человеческую сущность...

— Что же вы поняли? — спросил с мучительной гримасой Белаш.

— А то, что вы завистник. Не обычный какой-нибудь ничтожный зависта, а завистник-титан, завистник с большой буквы. И правоту мою подтверждает сам характер преступления.

— Но почему вы так решили?

— А вы разве не знаете? — удивился комиссар. — Кресту вы рассказали о «страдивари»?

— Ну, предположим...

— Тут и предполагать нечего. Я уверен, что вы рассказали ему о скрипке, еще и в мыслях не имея украсть ее...

При слове «украсть» Белаша всего передернуло, но комиссар спокойно продолжил:

— Да, да, украсть. Вы ему просто жаловались: живут же люди — талант, удача, а один инструмент чего стоит! А уж потом он взял вас за горло именно со скрипкой. Да и сопротивлялись вы не сильно — грела идея сильно насолить Полякову, который, с вашей точки зрения, был в жизни чересчур удачлив. Вы решили взять на себя роль судьбы и хоть в какой-то мере уравнивать шансы Полякова, Иконникова и свои собственные.

— Это неправда! — сказал с придыханием Белаш. — Это людоедство!

— Правильно, — согласился комиссар. — Но в игре с Иконниковым вы перешли от людоедства морального к физическому. Кто из вас сообразил играть на Иконникова? А-а?..

Белаш сглотнул ком в горле, перехватило дыхание, хотел что-то сказать, потом опустил глаза и чуть слышно сказал:

— Крест.

— Неправда.

Белаш поднял голову, и в глазах у него стояли слезы.

— Я этого не хотел. Я этого так не хотел! Я не верил, что так страшно может кончиться, — прошептал он.

— Это хорошо, что вы не хотели, — сказал комиссар. — Но все-таки делали?

Белаш помолчал. Потом хрипло сказал:

— То, что вы сейчас со мной... это бесчеловечно.

Комиссар надел очки и внимательно посмотрел на него.

— Н-да, вопросы мы задаем вам неприятные. — Он задумчиво постучал пальцами по столу. — Довольно трудно вслух сказать о том, что ты обворовал, предал, опозорил и убил учителя. Труднее, оказывается, чем все это сделать. Ладно, оставим. Скажите-ка, как нам найти Креста?

— Не знаю, — сказал Белаш. И вдруг, будто прорвало его, он заговорил быстро, запинаясь, горячо, боясь, что мы не поверим ему: — Я, честное слово, не знаю. Я вообще о нем ни-

чего не знаю. Когда я был ему нужен, он всегда звонил мне по телефону или приходил. А где он живет, я не знаю...

— Что он собирался сделать со скрипкой? Он ничего не говорил на этот счет?

— Нет, но мне кажется... я думаю... он хотел ее сбыть по своим каким-то хитрым каналам...

— А когда вы с ним виделись в последний раз?

— Позавчера.

Комиссар искоса посмотрел на меня и спросил:

— Где?

— У меня дома.

— Железные у вас нервы, — засмеялся комиссар. — Я бы на вашем месте в два счета от страха свихнулся, а вы ничего... И зачем он приходил?

— Интересовался, о чем Тихонов на допросе расспрашивал.

— Уважает он, значит, Тихонова? — усмехнулся комиссар. — Считается с его интересами?

Белаш промолчал, а мне вдруг в голову пришла мысль, но я не успел спросить, потому что комиссар и на этот раз подумал быстрее. Он наклонился к Белашу через стол и спросил негромко, как-то даже задушевно:

— Ну а что, Григорий Петрович, вы Тихонова Кресту показали?

Белаш испуганно отшатнулся от комиссара, будто тот ударил его в лицо, совсем он стал серого цвета, быстро пробормотал:

— В каком смысле? То есть как?

Комиссар легонько, коротко, зло хлопнул ладонью по столу и так же негромко и от этого особенно страшно сказал:

— Вы мне тут дурочку не ваяйте! В прямом смысле! Крест знает Тихонова в лицо?

Белаш, заглупев, глядя в лицо комиссару, кивнул:

— Знает.

— Где вы показали Тихонова Кресту?

— В кафе «Арабат». Он сидел за два столика от нас.

— Он вооружен?

— Пистолет у него.

— Ох, Белаш, рисковый вы человек! — покачал головой комиссар. — Да только не по зубам вы игру с нами затеяли. Ну хорошо, обыск у вас будем делать...

В однокомнатной квартире Белаша было намусорено, пыльно, на всем лежала печать равнодушия и запустения; и невольно казалось, будто хозяин не ушел отсюда сутки назад, а бросил свое жилье давным-давно.

Обыск производила Лаврова; и, когда Белаш смотрел на нее, лицо у него было нехорошее, темное. Я сказал ему:

— После обыска вы можете переодеться, взять теплые вещи и курево.

— Спасибо.

И вновь наступила тишина, нарушаемая только шумом шагов Лавровой и взволнованным сопением понятых.

— Это вы с кем здесь пировали? — спросила Лаврова, показывая на грязный, заваленный объедками, пустыми бутылками, консервными банками стол.

— С Крестом, — сказал Белаш.

Я спросил:

— Значит, у вас канала связи с Крестом нету?

— Нет. Он всегда появлялся неожиданно.

— Он не говорил, когда будет у вас в следующий раз?

— Он этого никогда не говорил.

— Вы можете установить какую-то периодичность его визитов?

Белаш покачал головой.

— Как вы думаете, Крест живет в Москве?

— Скорее всего нет. Вообще, разговора об этом не было, но однажды он сказал: «Ты через полчаса в постели, а мне еще пять часов до дома топать».

— Номер его машины вы не рассмотрели?

— Нет. Но если бы я даже знал его на зубок, вам бы это все равно не принесло пользы.

— Почему?

— Вы еще плохо знаете Креста. Он продумывает все до мельчайших деталей. И скорее всего на его машине стоит чужой номер. Во всяком случае, когда он приезжает в Москву.

— Каких-нибудь особенностей, необычных вещей на его машине вы не заметили?

Белаш подумал, развел руками.

— Обыкновенный «газик». Разве что никелированные колпаки на колесах — обычно ведь на таких машинах нет колпаков.

— Внешняя манера поведения Креста?

— Сволочь, — сказал Белаш. — Эдакий развеселый дядя, бабник типа «скот в сапогах»...

— Это что-то новое, — отозвался я.

Сообщение меня заинтересовало, потому что на таких субчиков обычно можно выйти через шлейф покинутых и потом долго неутешных дам.

— Ничего нового, — презрительно сказал Белаш. — Бабник-мародер, что ли. Он мне как-то сказал, что ездит отдыхать в Анапу: «Там мамочки с больными детьми, расстроенные они, обиженные судьбой — очень нуждаются в сочувствии».

— Н-да, хорошего компаньона вы себе подобрали.

— Я его не выбирал. Как и вас...

— Что правда, то правда. Мы вас действительно сами нашли. Только с разных сторон. Одно жаль: что Кресту вы оказали гораздо меньшее сопротивление, чем мне...

Белаш пожал плечами и засмеялся зло, с повизгиванием:

— А что в этом удивительного? Крест отнял у меня только совесть, вы хотели забрать все. Да и забрали...

— Да, — сказал я устало. — Но вы забыли, что я пришел, когда совести уже не было.

Пропало у меня почему-то сочувствие к нему — и в последнем, самом тяжелом испытании Белаш оказался совсем дрянным человеком. И то, что мне удалось остановить поток его жизни и как киноленту пустить его вспять, тоже не радовало, потому что принесло мне только человеческое разочарование, да и профессионального удовлетворения не было — скрипки, из-за которой мне пришлось предпринять поход в чужие судьбы, в события, отзвучавшие семнадцать лет назад, пройти сквозь вероломство, подлость, обман, — скрипки не было. Она

по-прежнему находилась в цепких руках человека, который продумывал свои негодяйские дела до мельчайших деталей и твердо гарантировал своим сообщникам, что они никогда не попадутся.

— Продукты и выпивка — из ваших запасов или Крест принес? — спросила Лаврова.

— Крест принес, — медленно сказал Белаш. — А что?

И я тоже не понял, почему она спрашивает об этом.

— Ничего, — сказала Лаврова и повернулась ко мне: — Та-кую банку, помнится, я видела на кухне у Мельника...

— ...На каждой консервной банке, на крышке или на донышке всегда бывают цифры и буквы... — сказала Лаврова.

— Цифры? — удивленно переспросил я и вспомнил, что действительно на банках всегда выдавлены рельефные буквы и цифры.

— Да, цифры. И я, так же как и вы, никогда не обращала на них внимания. Но ведь они что-то обозначают, раз их ставят. А сегодня я решила поинтересоваться этим всерьез.

Я понял, куда гнет Лена, но осторожно сказал:

— Я думаю, что в каждой партии — сотни тысяч банок...

— И это возможно, — спокойно сказала Лаврова. — Но у нас другого пути нет. Смотрите, что я узнала...

Она развернула лист бумаги, на котором было крупно написано: «K2630/211И349».

— «Ка-две тысячи шестьсот тридцать дробь двести одиннадцать-И-триста сорок девять», — вслух прочитал я. — Тьфу, чертовщина какая! Ничего не понимаю.

— Не удивительно, — усмехнулась Лаврова. — Это шифр с крышки консервной банки из-под маслят маринованных, которыми закусывали Крест с Белашом. По словам Белаша, банку принес Никодимов.

— А как его можно расшифровать — шифр этот?

— Я как раз этим и занималась сегодня в Министерстве пищевой промышленности.

— Поделитесь, — с интересом попросил я.

— Пожалуйста. Буква «К» обозначает группу заводов, к которой относится изготовитель этой банки. Всего, оказывается, таких знаков три — «К», «М» и «Р». «Р» — это рыбокомбинаты, «М» — мясо-молочные заводы, а «К» — все прочие консервные предприятия, в том числе и овощные.

— Между прочим, я бы и сам мог догадаться, что маринованные грибы делают не на рыбокомбинате, — сказал я сварливо. Из ехидства, конечно, и из зависти сказал, потому что понимал, что Лаврова нашла на хороший след.

Лаврова махнула на меня рукой и продолжала:

— Отбрасываем последнюю цифру — это год изготовления.

— Ноль — это год изготовления?

— Не ноль, а семьдесят, — терпеливо объяснила Лаврова. В семидесятом году, сиречь, нынешнем, изготовили эти грибы. Семерка опускается, и штампуются только ноль.

— А может быть, в шестидесятом? Тоже ноль.

— Овощные консервы не подлежат таким срокам хранения. Остается цифра 263 — это индекс завода. Что такое консерв-

ный завод номер 263? Оказывается, это межколхозный овощной консервный заводик во Владимирской области, Сасовский район, деревня Котельники. Продукты почти полностью поступают в областную торговую сеть для реализации в основном через магазины облпотребкооперации. Вас эти сведения согревают?

— Леночка, можно, я вас поцелую?

— Можно! — поспешно сказала Лаврова и тут же засмеялась: — А вас не смущает, что это... в служебном кабинете?

Я покачал головой и чмокнул Лаврову в щеку. Она подняла на меня глаза и спросила с искренним интересом:

— Слушайте, Тихонов, а почему вы решили, что ваш поцелуй может быть для меня формой благодарности?

— Ну вы же мне давно сказали, что я злой и sentimentalный человек, — обрадовался я возможности «отыграться». — А они, злые, sentimentalные человеки, всегда так думают. Но при всех обстоятельствах вы сократили объем работы раз в двадцать.

— Или в сорок, не будем мелочными, — снисходительно кивнула Лаврова. — Тут ведь остались еще цифры и буква. Обозначают они вот что: первая цифра — номер смены, которая изготовила эту банку. Две следующих — одиннадцатое число, буква «И» — август, а последние цифры — индекс самих консервов. Правда, это нас не интересует — и так видим.

— А почему «И» — это август?

— Вы бы мне придумали вопрос полегче. Откуда я знаю — почему «И»? Может быть, по порядку: А — январь, Б — февраль, и так далее.

— Может быть. Впрочем, это уже неважно.

— Вы со мной поедете?

Лаврова долго, пристально смотрела на меня, и мне показалось, что она хочет сказать что-то очень важное, но она молчала, и мне вдруг показалось необходимым понять, о чем она сейчас думает, да по ее лицу разве что-нибудь прочтешь? Так я и не понял, о чем думала Лаврова, а она, посмотрев на меня еще немного, сказала:

— Вызывайте машину...

— Про нас можно сказать так: что потопает наш заготовитель, то полопает наш потребитель, извиняюсь, конечно, за слово «полопает». Но факт — из песни слова не выкинешь. — Директор Сасовского гормага объяснял нам свои принципы обслуживания покупателей. Вначале он несколько взволновался, приняв нас за работников ОБХСС, но, разобравшись, успокоился, стал много веселее, общительнее и даже остроумнее. — Нынешний крестьянин... — он делал ударение только на последнем слове, — это не прежний сырый земледelec. Это передовой колхозник, требующий от нас заботливого и вдумчивого отношения к его столу питания. И мы стараемся с честью ответить ему на его растущие культурные и материальные потребности. Мы ведь предприятие потребительской кооперации, и то, что мы приобретем от производителя, приходит на стол к труженику села. Поэтому мы стараемся, чтобы этот стол был обильнее и разнообразнее...

Я не выдержал и перебил его выступление:

— Вы шестнадцатого августа получали консервы с завода в Котельникове? Покажите мне документы.

Директор вновь дал легкую рябь волнения:

— Пожалуйста, вот смотрите. Я ведь, можно сказать, здесь ветеран. Почти два десятка лет работаю. Каждая собака, извините за слово, меня здесь знает, и я у всех на виду. У нас не скроешься — все друг друга видят...

— Сколько у вас осталось еще маринованных маслят?

— Я сейчас посмотрю на полках — должно быть, самая малость. Очень большим спросом пользуется этот товар. — Он выскочил из конторки.

Я подошел к Лавровой, курившей у открытой форточки.

— Он действительно должен знать здесь всех. Если нет ошибки в принципе, то он нас выведет на Креста.

— Не должно быть ошибки, — сказала Лена. Лицо у нее было осунувшееся, утомленное, синие круги подвели глаза. — К вечеру областное ГАИ даст сведения о «газиках» с никелированными колпаками.

Вошел директор и радостно сообщил:

— Осталось еще шесть ящиков. Настоятельно рекомендую взять с собой. Знатки считают, что это исключительно редкий маринад — богатейший вкусовой букет. Кстати, завтра с утра, извиняюсь за слово, гусей выкинем. Не интересуетесь, к Новому году?

— В другой раз как-нибудь, — сказал я. — Будьте добры...

— Станислав Петрович! — вдруг резко, почти на вскрике произнесла Лаврова.

Я удивленно поднял на нее взгляд — Лаврова отступила от окна, лицо ее побледнело еще больше и как-то вытянулось, а ладонью она держала себя за шею — видно, спазма перехватила горло, и она почти шепотом, сипло сказала:

— Вы хотели присмотреть для своей машины колпаки...

Я вылетел из-за стола и в один прыжок подскочил к окну. Из зеленого «газика» с блестящими колпаками на колесах вышел человек. Был он плотен, коренаст, темная бекеша круглила литые плечи, торчком на голове стояла меховая шапка, серые чесанки косолапо загребали снег. Здоровым саквояжем в руке размахивал легко, играючи. Сквозь льдистую роспись мороза на стекле лица его было не рассмотреть.

Директор магазина, уже стоявший за моим плечом, сказал высоким испуганным голосом:

— Да это же наш заготовитель, Полозов Петр Семенович. Очень хороший человек...

Я повернулся к нему и сказал быстро:

— Садитесь на свое место и сидите тихо...

— Но почему?.. — Он увидел в руке Лавровой пистолет и осеялся.

— Я вам сказал — садитесь! Лена, встаньте за дверь!

Директор сел за стол, онемев от испуга и неожиданности; и я понял, что если там, во дворе, Крест, то он все поймет с первого взгляда. Шансов на игру не осталось. Я тоже вынул пистолет, снял с предохранителя, дослал патрон в ствол, рассла-

бил кисть, чтобы не дрожала рука, и опустил пистолет в карман так, чтобы можно было сразу выстрелить через пиджак.

Совсем рядом затопали шаги, дверь распахнулась, и вошел человек. У него была странно маленькая для таких плеч голова. Курносый носик, веселые бесцветные глаза, румяные с мороза щеки, белесые брови — таких лиц тысячи, оно неприметно, и, расставшись с ним, забываешь его навсегда. Но я его не мог позабыть — это было лицо Никодимова, Креста, это было лицо моего Минотавра. Он совсем не постарел по сравнению с архивными фотографиями, чуть заматерел разве. Может быть, годы не властны над кошмарами?

Вот наконец и встретился я с ним, со своим чудищем из Лабиринта, сделавшим мою жизнь невыносимой, потому что из-за него лежал на мне ужасный груз невыполненных обязательств.

Он сказал:

— Здравств... — и тут увидел меня, и в глазах его сполохом метнулась искра мучительного воспоминания и исчезла, потому что он сразу же узнал меня. В правой руке у него был саквояж, и он не мог мгновенно сунуть руку в карман. Для этого надо было бросить саквояж, а это целая секунда. И ее больше не было.

По инерции он сделал еще шаг, и Лаврова, выйдя из-за двери, ткнула его стволом пистолета в шею.

— Руки за голову!

— Поднимайте, поднимайте ручки! — сказал я и пистолетом показал, что руки придется поднять.

Никодимов бросил или уронил свой саквояж, звук был тупой, мятый, как сапогом в глину, и медленно, как-то сонно стал поднимать руки вверх. Я засунул руку в боковой карман его бекеши и, когда доставал теплый тяжелый брусок браунинга, ладонью ощутил, как бешено, судорожными, рвущимися ударами колотится у него сердце, и в этом истерическом, жутком бое был нечеловеческий страх; и в этот момент Никодимов стал мне противен, как заразный взбесившийся волк.

— Давайте руки! Вперед! — Я захлопнул у него на запястьях наручники и, тяжело вздохнув, смахнул со лба капли пота. — Теперь все...

Никодимов тяжело рухнул на стул.

— Вы зачем мною интересовались, Данила Спиридонович? В «Арарате» меня запомнили зачем, а? — спросил я. — Ну ладно, повезем вас в Москву. А то вашим компаньонам Новый год встречать скучно. Скрипка где?

Никодимов молча смотрел мимо меня. Я встал, поднял с пола и расстегнул саквояж. Сверху лежал продолговатый мешок. Взял его в руки и через ткань почувствовал прихотливо изогнутую поверхность скрипки. Пальцы онемели, одеревенели, стали непослушными; они дергали завязки мешка, сучили полотняные ленточки, а узел все равно не распускался; и тогда я зубами рванул тесьму, и ткань с треском лопнула.

Замирающий свет зимнего предвечерья туго плеснул в темно-красной полированной деке, в печке стрельнуло полено, и тотчас тонко задрожала струна, пальцы ощутили ласку резного завитка, изящно развернулись боковые прорези, и сквозь них



была видна надпись на дне скрипки: «1722. Antonius Stradivarius» — и рядом широкий мальтийский крест.

Я прижал скрипку к груди и сказал Лавровой:

— Эх, Леночка, жаль, нет смычка!

Она засмеялась:

— А то бы сыграли?

— А что? Сейчас, честное слово, смог бы! Поляков бы поза-видовал!

Лаврова взяла из моих рук скрипку, посмотрела на свету надпись и погладила верхнюю деку нежно, как ребенка по голове, потом снова засмеялась и сказала:

— Все-таки, лучше не надо. Пусть каждый занимается своим делом.

Комиссар повернул регулятор громкости, и не по-ночному свежий голос сказал:

— ...В Москве три часа шесть минут. На «Маяке» передача «Опять двадцать пять»...

И сразу же стройный джазгол дружно спросил: «Ты куда, Одиссей? От жены? От детей?..»

Комиссар помотал головой и, к великому моему удивлению, сказал в унисон артисту, на редкость похоже:

— Шла бы ты домой, Пенелопа... — И весело, легко захохотал, блестя золотыми зубами. Я тоже заулыбался, а он, не переставая смеяться, спросил: — Слушай, а куда это Крест со скрипкой под Новый год от жены, от детей намылился?

— Нет у него ни жены, ни детей, — сказал я. — Он несчастных мамочек предпочитает. А куда собрался, не говорит. Молчит он пока.

— Ничего, заговорит. Он и по прошлым делам разговорчивый был. Ты скрипку Полякову завтра повезешь?

— Да. Я вот думаю, может быть, его сюда пригласить? Для торжественности...

Комиссар ухмыльнулся, и в косом свете настольной лампы ярко блеснул его зеленый глаз.

— Для торжественности? А ты его, что, награждаешь этой скрипкой? Скрипка-то, между прочим, его, а не твоя. Просто попросили помочь разыскать ее, вот мы и того... подсобили...

— Ага, — сказал я и почесал в затылке. — И это верно.

— Вот вас с Лавровой мы за это дело наградим ценными подарками. Есть у нас приемнички такие маленькие, по тринадцать рублей. «Маяк» берет бесподобно, вот мы в торжественной обстановке вам и вручим.

— Ну спасибо, — сказал я.

— Да благодарить рано. Это мне еще с отделом кадров согласовать надо. Так что благодарить подожди.

— Ладно, я подожду.

Комиссар кивнул на динамик, откуда доносилась песня о неугомонном Одиссее:

— Вот этот парень ведь не из-за ценного подарка старался? — Он встал, обошел свой огромный стол, положил мне руку на плечо и негромко сказал: — Спасибо тебе, сынок...

Мы ехали с комиссаром по пустынным, ярко освещенным улицам. Домой, спать. Остро пахло хвоей, даже здесь, в машине, ощущался этот терпкий свежий аромат — город готовился к Новому году, везде наряжали елки. На площади Маяковского комиссар показал мне рукой:

— Вон, посмотри...

Огромная афиша сообщала о концерте Льва Полякова. И розовой, как аспид, полосы «ОТМЕНЯЕТСЯ» не было.

— Он еще ничего не знает, — сказал я.

— Вот позвони утром и сделай человеку сюрприз. — Комиссар снял фуражку, привалился головой к боковой стойке и задремал.

Шуршали по замерзшему асфальту шины, и от ровного шелеста мотора клонило в сон. Взяли и медленно, бесшумно тонули мысли в мягкой одуре, звучали обрывки звуков, фраз,плыли какие-то воспоминания, неподвижные, цветные, мгновенные, как фотографии. Красное солнце в окне гостиной Полякова, трещины на портрете королевы: «Скрипка, где моя скрипка?!» Тонкие детские пальцы скрипача в черной дактилоскопической мастике... Кирпичные геометрические дорожки в алкоголической лечебнице: «Правда — не рупь, она по виду, может, и монета чистая, а на зуб ее не возьмешь...» — и слезы Обольникова... Прекрасная белая девушка Марина Колесникова: «Ему пришлось победить Минотавра...» Пустой осенний парк: «Есть люди, способные сразу раскрыть отпущенное им дарование...» — это снова Поляков, и Иконников с аспидом в руке: «...Это сыщиком можно быть первым или восемнадцатым...» Элегантный Белаш с перекинутым на руку плащом: «Страдивари» воруют, чтобы не попадаться...» Алюминиевый блеск сгоревшего листочка со следами цифр: «Будьте добрее, это вам не повредит...» Седая красивая Раиса Никоновна Филонова у портрета Иконникова: «То, что прощается среднему человеку, никогда не прощают таланту...» Хоровод девушек на экране цветного телевизора в витрине напротив больницы, где лежал мертвый Иконников, и линованная страничка его письма... Мельник с лысым шишковатым черепом: «Ты как вошел, я тебя сразу понял...» — и сверкающие на дощатом столе ордена Полякова. Шустрый сеньский парикмахер Кац, лохматый, заросший до бровей Дзасохов — и курица со скорбным человеческим глазом, противное злорадство Содомского, бесчисленные лица допрошенных людей, сумасшедшие от ужаса глаза Белаша, увидевшего Мельника, и снова Иконников: «Характер человека — это его судьба...» Бегущие по ломкому, трескающемуся льду Хрюня и Никодимов... Багровое, в красных жилках лицо Федора Долгова: «Соседская девочка утром с голодухи померла, а у него — музей пополам с продовольственным складом...» Тревожное дрожание в руках камертона, и животный трепет сердца Никодимова...

Разве такое могло втиснуться в два месяца? Хотя я забыл — это же семнадцать лет, а не два месяца. А может быть, больше? Ведь скрипке уже двести сорок восемь лет. И разве со скрипки все началось? А с чего началось?

...Качаются, шумят зеленые волны, и мелькают на гребнях белые весла сиракузских трирем.

Звяк-звяк! — ударяют в такт цепи гребцов. Тирану Миносу везут украшения для удивительного дворца, из которого нет выхода.

Тут-тук! — возводят высокие стены, за которые можно войти, а назад нет выхода.

Скрип-скрип — бежит по папирусу перо Дедала.

— Зачем, мудрый всезнатец, возводишь дворец, из которого не улететь даже на твоих крыльях?

Звяк-звяк! — Дедал тоже раб.

— Зачем, мудрость, служишь злодейству?

— Мой Лабиринт прекрасен, а прекрасное не может быть приносно злодейству.

Цок-цок! — ты слышишь, Дедал, шаги чудовища?

— Но Минотавр лишь скроет здесь от взглядов людских свое уродство!

— Зачем же ведут в страшный дворец семь невинных девушек и семь прекрасных юношей?

— Я не хотел этого — я мечтал построить неслыханное чудо!

— Дедал, ты слышишь стенания и крики в твоём чудесном дворце?

— Я только раб, а деспот всегда сильнее мудреца!

— Смотри, Дедал, никогда не давало свободы и добра повиновение мудрости тирану.

— Но я жажду искупления!

— Ты получишь его, отдав богам сына Икара...

— Нет, нет, возьмите лучше мою жизнь!

— С судьбой нельзя торговаться, корабль Тезея уже отошел от берегов...

— Нет, нет, нет! А-а-а!..

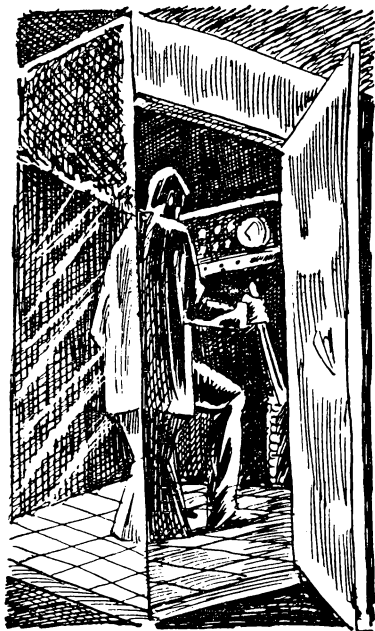
— Товарищ капитан, проснитесь!

Я открыл глаза и увидел, что машина стоит около моего дома. Шофер Леша легонько тряс меня за плечо. Комиссар дремал. Я вылез из машины, осторожно притворил дверцу, и «Волга» бесшумно унеслась.

На заснеженном пустынном тротуаре я стоял еще долго, но так и не вспомнил, с чего все началось. Потом махнул рукой и пошел спать — до утра осталось совсем мало времени.



Ричард ГЕЙМЕН



МА- ШИ- НА

Фантастический рассказ

Только что я разговаривал с Джо, и сейчас в голове у меня еще больше путаницы. Неплохо бы по-настоящему сзихнуться, да не тут-то было! Очень уж мне страшно, и мысли вертятся вокруг одного: чем же все-таки кончится эта история? «Эл, — твержу я себе, — ты должен все как следует обдумать». Вот почему я взялся за перо — опишу то, что с нами произошло, может, от этого мозги прояснятся.

С Джо Мак-Суином мы дружим еще со школы. Мы живем в одном квартале, и до того, как Джо мобилизовали в армию, а меня — на флот, вместе работали в механической мастерской Крага. Но, расставшись, мы с ним регулярно переписывались, а когда вернулись в родной Парксайд, решили, как прежде, работать на одном предприятии.

Пока мы отсутствовали, на окраине нашего города открылся большой завод по производству пластмасс — «Тернбулз фабрикейшн», — вы, наверно, о нем слышали. Платили там большие деньги, поэтому мы надумали разузнать, не найдется ли и

для нас какой работенки. Нас наняли с ходу. Теперь мне кажется, что именно с этого и начались все неприятности.

Пока я не перешел к главному, скажу несколько слов об Эгнес Слейтер. Это из-за Эгги Джо решил пойти работать на завод «Тернбулз». До армии Джо слегка приударял за ней, а когда вернулся домой, их отношения приняли серьезный оборот. И Джо вообразил, что для него самое лучшее устроиться на «Тернбулз», потому что, когда они с Эгги поженятся, хорошая зарплата будет очень кстати.

Меня определили в отдел перевозок — местечко не блестящее, однако получше того, что досталось Джо. Его приставили к «Иксу». На «Тернбулзе» много эдаких машин, которые тут называют «изготовителями», и самая из них большая — это «Икс». Убейте меня, если я знаю, что она там изготавливает. Наверно, какую-нибудь особую пластмассу. Эту таинственную продукцию отправляют на какой-то другой завод, где ее используют в производстве. Те, кто работает на этом «Иксе», знают только, что они обслуживают огромную, гениальной конструкции машину высотой в семь этажей, полностью скрытую от глаз стенами и опоясанную на каждом этаже узкими коридорами. Джо возненавидел ее с первой секунды.

— Этот их «Икс», — сказал мне Джо, когда мы в тот день к вечеру ехали домой. — Это же черт знает что! Они поместили меня на третьем этаже. Я сижу перед пультом управления в маленькой комнатухе со стеклянными стенами. На мое обучение ушло десять минут — от меня требуется только несколько простых движений. Все автоматизировано.

Понимаете, Джо из тех парней, которые любят работать головой. Ему нравится выискивать и разрешать всякие проблемы. А этот «Икс» напрочь лишил его такой возможности.

— В чем же заключается твоя работа? — спросил я.

— Пф! — фыркнул он. — Вот послушай, Эл. В восемь часов утра я втискиваюсь в эту каморку. В восемь часов десять минут я протягиваю руку и поворачиваю диск «№» до деления «сорок». В восемь двадцать я нажимаю кнопку под буквой «q». В восемь двадцать три я ставлю диск «№» обратно на ноль. В восемь часов тридцать одну минуту я достаю с полочки масленку и впускаю две капли масла — ровно две — в маленькое отверстие у основания пульта. В восемь сорок шесть я тяну на себя рычаг. В восемь сорок семь я возвращаю его на место. В восемь пятьдесят три я снова нажимаю кнопку под буквой «q». В восемь пятьдесят девять я поворачиваю диск «№» до деления «десять»

и через секунду обратно перевожу на ноль. К этому времени часы уже показывают девять, и весь процесс повторяется заново.

— Без малейших изменений?

— Да, — ответил Джо. — Так оно и крутится до самого полудня. В полдень часовой перерыв на обед, после которого я возвращаюсь на свое место и тяну эту волюнку до пяти. — Он вздохнул. — Вот что представляет собой моя новая работа.

— Джо, — спросил я, — а что происходит внутри машины, когда ты все это проделываешь?

— Насколько я могу судить, Эл, — ответил Джо, — ровным счетом ничего.

— Но как она все-таки работает?

— Будь я проклят, если я знаю! Мне об этом ничего не сказали.

— И ты ничего не слышишь в те минуты, когда крутишь диски и нажимаешь кнопки?

Джо отрицательно покачал головой.

— Ни звука, Эл.

Это было выше моего понимания.

— Очень странно, Джо, — проговорил я.

— Я тоже так думаю, — сказал Джо. — Тогда, у Крага, нам не попадалось ничего похожего.

Его, видимо, тяготила эта тема, поэтому я перестал его спрашивать. Я рассказал ему о своей работе, которая заключалась в том, что весь день я заполнял накладные на перевозки грузов. Я, механик, — и накладные.

В тот вечер Джо с Эгги отправились в кино; по дороге они на минутку заглянули ко мне. Эгги не красавица, но в ней что-то есть. Я говорю не о фигуре, фигура-то у нее отличная. Я имею в виду другое. Ее энергичность, что ли. Хотя вы, быть может, назвали бы это честолюбием. Она деятельна до предела.

В тот вечер Эгги была необычайно оживлена. Выглядела она как картинка — на ней было красное платье, которое очень шло к ее черным волосам, и вся она искрилась здоровьем.

— Джо рассказал мне о своей работе, Эл, — сообщила она мне. — Это же великолепно!

У Джо был такой вид, словно он пытается сообразить, откуда у нее взялась эта идея.

— Я хочу сказать, — продолжала она, — что, по-моему, это великолепно, если такой большой завод, как «Тернбулз», открывает перед вами, ребята, столь широкие возможности! На таком

солидном предприятии у вас великолепные шансы продвинуться и сделать карьеру.

— Угу, — сказал Джо. — Проработаешь пять лет, и тебе дадут повертеть еще несколько дисков.

— Эгги, — произнес я, — нас беспокоит то, что нам неизвестно, какую продукцию выпускает «Тернбулз». Какой-то вид пластмассы — вот все, что мы об этом знаем.

— Такое впечатление, будто нынче абсолютно все засекречено, — сказал Джо. — Пожалуй, сейчас с этим даже хуже, чем во время войны. Я читал сегодня в «Курьере», что принят этот законопроект... как его там?

— Закон Челлендора-Коллендера-Уингла-Уэнгера, — выпалила Эгги.

Эгги напичкана подобными сведениями. Ей до всего дело и памяти не занимать.

— Точно, — сказал Джо. — Так вот, по этому новому закону, военное ведомство имеет право подчинить себе любое предприятие, которое будет признано необходимым для нужд национальной обороны. Есть у меня мыслишка, что, может, «Тернбулз» тоже работает на армию.

— Кто знает, — сказал я.

— Болтайте что хотите, мне от этого ни жарко ни холодно, — заявила Эгги. — Я уверена, Джо, что со временем тебе понравится твоя новая работа. И тебе тоже, Эл.

Как я уже говорил, Эгги девушка очень неглупая, но тут, по ее собственному выражению, она не попала в «яблочко». Через неделю Джо был очень подавлен, — таким я его еще ни разу не видел. По утрам, когда мы с ним ехали на работу, он почти не открывал рта. То же самое вечером, на обратном пути. Казалось, ему все время не дает покоя какая-то мысль. Но на этом не остановилось: через две недели он еще больше пал духом. Когда истекла третья, я решил поговорить с ним начистоту.

— Черт возьми, Джо, — сказал я, — что с тобой происходит? Ты прямо сам не свой.

— Я? Я в полном порядке.

— Джо, — настаивал я, — скажи мне, в чем дело. Ты маешь-ся из-за этого «Икса», да?

— Да-а, пожалуй, ты прав. Это из-за «Икса». Я ежедневно сижу рядом с ним с утра до вечера. Нажимаю кнопки, поворачиваю диски, смазываю его; и все это время, Эл, я не более чем близкий придаток машины. Эта машина работает совершенно бесшумно, она неподвижна; и мне начинает казаться, что, воз-

можно, она вообще ничего не производит. Вдобавок, она еще такая огромная — высотой в полных семь этажей.

На его лице было до того странное выражение, что я растерялся и не нашел, что сказать.

— Но это не все, — продолжал Джо. — Тут есть кое-что еще. Помнишь, как было у Крага? Тогда мы имели дело с честными, нормальными машинами, у которых вертелись колеса, были колесчатые валы, приводные ремни, шкивы — словом, с механизмами. То были настоящие машины, они работали, шумели и выпускали запчасти для других машин. Стоило только взглянуть на одну такую лапушку — и сразу становилось ясно, что к чему. Когда она начинала бродить, ее можно было исправить. Включишь ее — она работает, выключишь — останавливается.

— А что такое этот «Икс», я совершенно не представляю, — немного помолчав, проговорил он. — Он ведь скрыт за стенами, на него не взглянешь. Я же, как сотни других парней, сижу в своем тесном курятнике. Делаю то, что мне велят. Если в машине возникают какие-нибудь неполадки, я об этом никогда не знаю. Я там только для того, чтобы выполнять несколько простых движений. Черт побери! Я не человек, который управляет машиной, я всего лишь ее часть. Один из ее рычагов. — Он взглянул на меня. — Ты меня понял, Эл?

— Если хочешь знать мое мнение, Джо, — сказал я, — то я считаю, что тебе пора уносить оттуда ноги. Почему бы тебе не уоолиться, Джо?

— Нет, — спокойно возразил он. — Все не так просто.

С минуту я переваривал это, а потом до меня дошло: я вспомнил Эгги. Позже Джо рассказал мне, что пытался объяснить ей, как обстоят дела, но не особенно в этом преуспел. Их разговор произошел вечером, на следующий день после того, как Джо поведал мне о своих переживаниях из-за «Икса», и по его рассказу этот разговор выглядел примерно так.

— Эгги, — сказал Джо, — мне думается, что нам лучше встречаться не шесть раз в неделю, а два.

Вы знаете, что за народ эти женщины. Она моментально истолковала его предложение по-своему и надулась.

— Ну, разумеется, Джо, — ледяным тоном сказала она. — Почему бы и нет, раз тебе так хочется.

— Это только потому, что меня мучает одна навязчивая идея, — пояснил Джо. — У меня от нее голова распухла, и, чтобы с ней разделаться, я стараюсь переключить мозги на другое.

— Если ты считаешь, что тебе будет приятнее проводить

вечера дома, — сказала Эгги, — что ж, не мне тебя разубеждать.

— Эгги, — сказал Джо, — прошу тебя, пойми меня правильно. Мне необходимо отвлечь мысли от «Тернбулза», поэтому я изобретаю сейчас одну штуку и с некоторых пор только о ней и думаю. Мне кажется, я уже все обмозговал, но у меня туговато со временем. Я быстро управлюсь, Эгги, и все пойдет по старому.

По словам Джо, ей вначале вроде пришла по душе идея с изобретением, но, когда она принялась о нем расспрашивать, Джо отказался отвечать на ее вопросы. Это подкрепило ее подозрения. Вы ведь их знаете, этих женщин. Есть среди них такие, которые хотят быть в курсе всего на свете. Из-за этого в тот вечер и началась их размолвка.

Поначалу Джо даже мне ни словом не обмолвился о своем изобретении. Но где-то в середине второго месяца нашей работы на «Тернбулзе» его настроение заметно улучшилось. Сперва я предположил, что он начинает привыкать к своим рабочим обязанностям, но потом пришел к выводу, что в его жизни что-то произошло. Садясь в машину, он насвистывал, а всю дорогу до завода без умолку болтал на разные темы и шутил. Точно так же он вел себя по вечерам, на обратном пути. Больше и больше он становился похожим на того Джо, которого я знал раньше.

Однажды вечером все наконец прояснилось. У Джо был таинственный вид, и он насвистывал и улыбался еще веселей, чем в предыдущие дни. Когда я затормозил перед его домом, он сказал:

— Эл, у тебя найдется свободная минутка? Зайди-ка ко мне. Я хочу тебе кое-что показать. По-моему, это нечто потрясающее.

В тот момент я и не подозревал, насколько потрясающим оказалось это нечто.

Мы вошли в дом; мать Джо накрывала для него стол к ужину.

— Эл, — обратилась она ко мне, — ты тоже участвуешь в этой глупой затее?

— Какой глупой затее?.. — начал было я, но тут меня позвал Джо, который уже успел спуститься в подвал.

— В жизни не слыхивала о подобной глупости, — заявила мама Джо.

Я поспешил к Джо в подвал, где мы с ним, когда учились в школе, оборудовали мастерскую. У нас там поднабралось множество всяких инструментов, которые мы покупали на карман-

ные деньги и на те, что получали, подрабатывая по субботам; короче, мастерская была что надо! Но, вернувшись из армии, мы заглядывали в нее крайне редко. Поэтому я о ней почти забыл. И честно говоря, спускаясь тогда в мастерскую, я ожидал, что это не более чем... А в общем-то, я сам толком не знаю, чего я ждал. Но, во всяком случае, не то, что увидел.

— Взгляни-ка сюда, — с гордостью сказал Джо. — Что ты об этом думаешь?

Не стану утверждать, что я изъясняюсь на самом изысканном английском языке, но, когда нужно, я свободно выражаю вслух свои мысли. Почти всегда. Однако на этот раз я сплеховал.

Посреди мастерской на массивных деревянных колодах стояла машина. И какая машина! Основание — восемь на восемь футов, высота — четыре фута. По виду это был самый сложный механизм из всех, с какими мне когда-либо приходилось встречаться. Тут были колеса, зубчатые передачи, шестерни, коленчатые рычаги, шкивы, поршни, приводные ремни, винтовые транспортеры, лампочки, рукоятки, кнопки, вентили, выключатели — словом, все. Даже свисток.

Эта машина состояла из такого количества разнообразных деталей, что я даже не берусь ее описать. Не машина, а мечта механика.

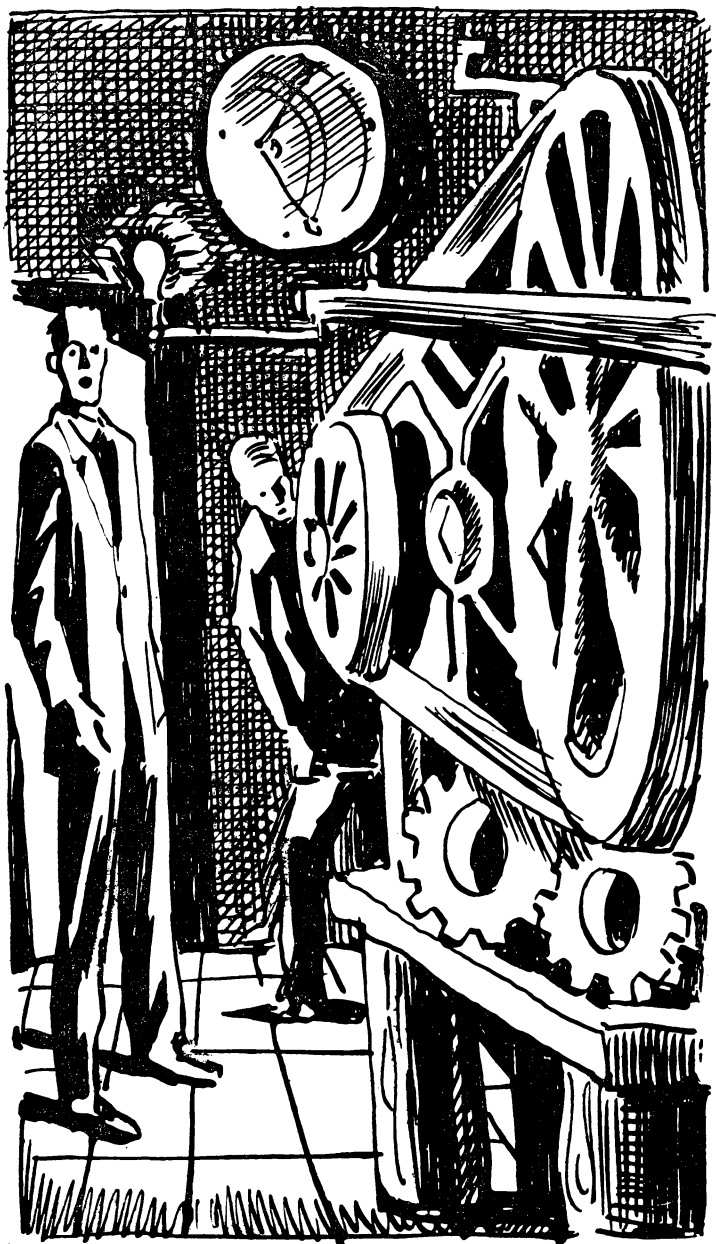
Пока я стоял столбом, взирая на нее и пытаюсь сообразить, что это такое, Джо нажал на верстаке кнопку. Два больших колеса в передней части машины начали поворачиваться, медленно набирая скорость. Сбоку выдвинулась стрела типа крановой и, сделав пол-оборота, захватила и приподняла несколько хомутков, потом вернула их на место. Вспыхнула зеленая лампочка, затем красная. Джо подошел к машине, повернул какую-то рукоятку, и машина заработала все быстрее и быстрее. От ее грохота дом ходил ходуном. Просвистел свисток. Где-то в недрах этого проклятого механизма запрыгал челнок. Вслед за этим из машины, пройдя ее насквозь, выскользнул смазанный маслом вал, сделал два оборота и втянулся обратно. Замигала синяя лампочка, и стрелка на одном из циферблатов поползла к красной линии. Сроду не видывал эдакой чертовщины.

— Разрази меня гром, Джо! — воскликнул я. — Что это такое?

Он одарил меня взглядом, который недвусмысленно дал мне понять, что, по его мнению, у меня мозги клерка из отдела перевозок.

— Секрет, — расплывшись в улыбке, ответил он.

— Секрет?



Рисунки В. КОЛТУНОВА

— Конечно, — сказал Джо и расхохотался. — Нет, Эл, никакой это не секрет. Просто я всем так отвечаю — помнишь, мы как-то говорили о том, что в наше время все засекречено. — Вроде этого «Икса». Так вот, в моей машине нет ничего секретного; по правде говоря, в ней вообще ничего нет. Машина, да и только.

— Какого рода машина, Джо?

— О господи! — простонал Джо. — Обыкновенная сложная машина старого образца.

— Верно, Джо, — терпеливо согласился я. — Я вижу, что это сложная машина. Но каково ее назначение?

— Назначение? Да у нее нет никакого назначения, — она только работает. Вот и все. Просто работает. — И прежде чем я успел открыть рот... — Какая муха вас всех укусила? Тебя, маму, моего соседа Херба? Вы все точно сговорились. «А каково ее назначение?» Нет у нее никакого назначения. Это просто машина, которая работает. Моя машина. И она подчиняется мне, Эл, а не я — ей.

Когда мне показалось, что я начинаю постигать его идею, я задал ему еще несколько вопросов. И запутался окончательно. Думаю, что теперь я понимаю, какие чувства испытывал тогда Джо к «Иксу» — вернее, как «Икс» повлиял на его психику, вызвав у него потребность создать машину, которой он непосредственно сможет управлять. То, что он молот о засекреченности, было чистой мистификацией. Но тогда я еще не до конца в этом разобрался. Когда я уходил, Джо стоял перед машиной, лаская ее взглядом гордого папаши.

Выходя из дома, я столкнулся на пороге с Эгги.

— Эл, ты это видел? — запыхавшись, спросила она. — Что это такое, Эл?

— Эгги, — сказал я, — я всегда считал тебя достаточно sophisticated.

Взгляд у нее стал жестче.

— Эл, скажи мне!

Тут я слегка обозлился.

— Это секрет, Эгги, — заявил я. — Я не могу сказать больше того, что узнал от Джо. Это машина, которая работает.

Она вздернула подбородок и прошествовала в дом. «Ладно, — подумал я, — пусть так». Я вышел на улицу, сел в машину и поехал к себе.

Как потом оказалось, в то время события еще только назревали. Вам хорошо известно, что в таком маленьком городке, как Парксайд, новости распространяются быстро. Быть может, мама

Джо поделилась со своими приятельницами, и они зашли к ней, чтобы поглазеть на машину. А может, о машине прослышал кто-нибудь из парней, работавших на «Тернбулзе». Так или иначе, но по городу поползли слухи. Одни рассказывали другим, а те, в свою очередь, спешили выложить эту новость третьим, и вскоре прохожие стали с особым интересом поглядывать на дом Джо. До самого Джо это дошло тогда, когда, желая познакомиться с ним и с его машиной, к нему заявился репортер из «Парксайдского курьера».

Точно не скажу, знал ли Джо, что этот тип был репортером. Возле его дома толкалось такое количество народа, что на то был один шанс из десяти. Репортер забросал его вопросами, на которые Джо ответил общими фразами, вернув ради шутки, что его изобретение засекречено. И добавил: «Это машина, которую я смонтировал в свободное от работы время. Машина, которая работает». После этого он попытался как можно вразумительнее объяснить, что побудило его этим заняться.

Как видно, ответы Джо репортера не удовлетворили. Поэтому на некоторые из своих вопросов он ответил сам. И его статья на первой странице «Курьера» была озаглавлена так:

«НЕ АТОМНАЯ ЛИ ЭНЕРГИЯ? ИЗОБРЕТЕНИЕ ЗАСЕКРЕЧЕНО».

Ниже был напечатан плод безудержной фантазии нашего друга репортера:

«В подвале дома Джозефа Мак-Суина, проживающего в нашем городе на Парксайд-авеню, 378, находится нечто такое, что, возможно, совершит переворот в науке. Это машина, но какого рода машина — Мак-Суин умалчивает. Из него удалось вытянуть только то, что это засекреченная машина, «которая работает». По мнению автора этой статьи, парням из Оук-Риджа и Хэнфорда не мешает покрепче держаться за свои лавры. Провалиться мне на этом месте, если в подвале у нашего парксайдского Джо Мак-Суина не стоит машина, которая работает на атомной энергии! Об этом красноречиво свидетельствует одно только его отношение к этому механизму. Мак-Суин работает над своим изобретением в течение...»

Я считаю, что для вас этого вполне достаточно — дальше этот деятель размахнулся еще на двенадцать абзацев. К статье прилагалась фотография Джо, относившаяся ко времени окончания им средней школы, — они раздобыли ее в архиве. Не обошли вниманием и меня: в статье говорилось, что, создавая свою атомную машину, Джо прибегал к моей помощи.

Вы знаете, что за этим последовало. В тот же день статью засекли все телеграфные агентства, и на следующее утро она появилась во всех газетах страны. «ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ИЗ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДКА ДЕРЖИТ В СВОИХ РУКАХ КЛЮЧ К КОСМОСУ» — утверждала одна нью-йоркская газета. «АТОМ В ОПАСНОСТИ!» — вопила другая. Скажи вы мне раньше, что поднимется такая свистопляска, я бы счел вас душевнобольным.

В тот день Джо позвонил мне около девяти вечера.

— Эл, — спросил он, — ты видел?..

— Да, — ответил я. — То же самое передают по радио.

— Мне некогда слушать радио, — сказал Джо. — С того самого времени, как вышел «Курьер», мой телефон не умолкает ни на минуту. Даже сам мэр звонил. Эл, еще немного — и я сойду с ума. Как этого паршивца угораздило такое наплести?

— Джо, — сказал я, — не все понимают шутки. Вероятно, ему показалось, что он напал на сенсацию.

— Возможно, — согласился он. — Чтоб ему пусто было! Репортеры обрывают телефон, вымотали мне душу вопросами — я пытаюсь им объяснить, что это ошибка, но они меня не слушают. Спрашивают о том, о чем я не имел ни малейшего представления, а когда я их уверяю, что ничего в этом не смыслю, они приписывают это моей скромности. Минуточку, Эл, мальчишка с почты принес очередную телеграмму. Я получил сегодня тридцать две телеграммы.

— Что ты собираешься предпринять, Джо? — спросил я его.

— Не знаю, — ответил он. — Стоит мне что-нибудь сказать, как они, ссылаясь на меня, еще столько же добавляют от себя. И я не могу... Эл, я вынужден прервать наш разговор. Там этот мальчишка с почты. Позвони мне завтра утром.

Легко сказать: «Позвони», а попробовали бы вы это сделать. Часов в восемь утра я пытался дозвониться до него дважды, но оба раза его телефон был занят. Потом мне уже пора было ехать на работу, и я покатил к дому Джо, чтобы, как обычно, за ним заехать. Какая наивность! Улица перед его домом была забита машинами, а у подъезда толпились какие-то люди, поэтому я остановил свое авто на некотором расстоянии и остаток пути прошел пешком.

— Вы из какой газеты? — спросил меня какой-то субъект.

Тут я заметил, что половина мужчин и кое-кто из женщин держали наготове кино- и фотокамеры. Пресса была во всеоружии.

Эта публика налетела сюда из больших городов.

— Я всего-навсего друг Джо, — ответил я.

И сморозил большую глупость.

— Вы друг Джо Мак-Суина? — взвизгнул субъект. — Эй, ребята!

Они облепили меня со всех сторон и наперебой стали задавать вопросы: «Где сейчас Мак-Суин?», «Как ему удалось это сконструировать?», «Правда ли, что ему достаточно двух капель воды, чтобы заставить работать двигатель военного корабля?», «А его босс действительно предложил ему три миллиона в обмен на двадцать пять процентов прибыли от реализации изобретения?», «Давно ли вы об этом знаете?» Я выслушивал эту муру, пока у меня не лопнуло терпение, потом вырвался от них и бегом припустил к своей машине. Прыгнул на сиденье, дал газ, и, оставив позади восемь кварталов, влетел в аптеку, и кинулся к телефонной будке. Телефон Джо был по-прежнему занят. Через пять минут я снова набрал его номер. Напрасный труд! Пробовал пробиться к нему еще три раза, и на четвертый мне наконец повезло.



Я услышал очень усталый голос Джо.

— Алло? — почти что прорычал он.

— Это Эл. Я остановился около твоего дома, но...

— Знаю. Я видел тебя в щелку между занавесками. Эл, я не спал всю ночь. Где ты сейчас?

Я объяснил.

— Попытаюсь до тебя добраться, — сказал он. — Жди меня там.

Я повесил трубку, вышел из будки и присел возле фонтанчика с содовой.

Из приемника неся какой-то танцевальный мотивчик, но внезапно музыка оборвалась, и раздался голос диктора.

«Передаем специальный бюллетень из Парксайда, штат Нью-

Йорк, — произнес голос. — Сейчас, когда вся страна рукоплещет талантам молодого Джозефа Мак-Суина, который, как полагают, изобрел атомную машину века, городским властям Парксайда стало известно, что военное ведомство незамедлительно приступает к изучению изобретения Мак-Суина и расследованию всех приводящих обстоятельств. Полковник Джордж П. Трикс, прославившийся своими заслугами в создании атомной бомбы, уже вылетел в Парксайд специальным самолетом в сопровождении своих помощников. Это...»

— Военное ведомство! — подскочив, воскликнул я.

Продавец содовой зевнул.

— Бывает, — заметил он.

— Но они же там свих... — Я замолчал, чтобы послушать, что радио скажет еще.

«...по закону Челлендора-Коллендера-Уингла-Уэнгера, — продолжал диктор, — военному ведомству дано право тщательно изучить любое новое изобретение, которое, по его заключению, может быть использовано для обороны страны. Предполагают, что машина молодого Мак-Суина поступит в распоряжение правительства».

— Правительства?!

Я не верил своим ушам и потряс головой, чтобы избавиться от этого наваждения.

— А вы чего ждали? — спросил продавец содовой. — Атомы — это вам не игрушки.

«...и сегодня на утреннем заседании сената, — вещал голос из приемника, — сенатор Бердж Фулсам заявил, что он собирается представить на рассмотрение сената законопроект об ассигновании одного миллиона долларов на охрану этого новейшего оружия. Не исключено, что в палате представителей Хейдер Крейтчер предложит законопроект о выделении такой же суммы на укрепление службы государственной безопасности страны. «Наш долг — любой ценой добиться в этом случае полной секретности, — сказал сегодня утром репортерам сенатор Крейтчер, — и бережно хранить это изобретение в чреве демократии, где оно зародилось».

— Какого черта!..

Я снова захлопнул рот и стал слушать.

«...Пока не ассигновано средств на продолжение работ по усовершенствованию машины Мак-Суина. Один сенатор, выразивший желание, чтобы его слова не получили огласку, сказал, что, возможно, такой законопроект будет представлен на рассмотрение в следующем месяце, и добавил: «Мы не намерены

с этим спешить». Изобретение может повлечь за собой серьезные последствия, в Голливуде ряд кинофирм пытаются получить право на экранизацию биографии Мак-Суина. Нью-Йоркское издательство «Стаб пресс» сообщило, что собирается выпустить книгу под заглавием «Наконец-то!» — о веке атомных машин. И. Р. Риско, мэр Парксайда, сегодня утром заявил, что хочет обратиться в муниципалитет с просьбой об ассигновании тридцати семи тысяч долларов на отливку статуи Эдолфа Мак-Суина — отца молодого изобретателя — и на сооружение ему памятника. Мак-Суин-старший был убит во время второй мировой войны, и скульптор изобразит его в военной форме с младенцем-сыном на руках. Дитя же, в свою очередь, будет сжимать ручонками атом в натуральную величину.

Меня взяло сомнение, действительно ли я сижу в аптеке около фонтанчика с содовой или это галлюцинация.

«...этим утром корреспонденты нашего радио неоднократно пытались взять специальное интервью у самого Мак-Суина, но им удалось передать нам только краткое заявление его матери. «Мне известно, что Джозеф хранит что-то в нашем подвале», — сказала миссис Мак-Суин».

В аптеку вошла какая-то женщина и уселась рядом со мной. — Привет, Эл, — сказала она басом. — Мотаем отсюда.

Меня так и подбросило: начали сдавать нервы.

— Джо, — воскликнул я, — зачем ты напаялил на себя эти тряпки? — Я оглядел большую, украшенную цветами шляпу, платье, пальто с меховым воротником. — Как ты ухитрился отсюда выбраться?

— Я надел вот эти мамины вещи и через черный ход шмыгнул в соседний дом к Хербу. А потом вышел на улицу из его парадного. Должно быть, они приняли меня за мать Херба. Бежим!

Я было полез в карман, чтобы расплатиться, но вспомнил, что так ничего и не заказал. Мы вышли из аптеки и сели в мою машину; но только я включил мотор, как увидел идущую по улице девушку.

— Взгляни-ка, Джо, — сказал я, — это часом не Эгги?

— Она, — сказал Джо и, выскочив из машины, с быстротой зайца помчался по улице.

Я пошел следом за ним на тот случай, если понадобится моя помощь.

Она-таки понадобилась. Эгги презрительно отвернулась от

Джо и продолжала свой путь. Джо потащился сзади, потом нагнал ее и попытался взять ее за руку.

— Эгги, я все объясню, ты только меня выслушай, — сказал он.

Эгги обернулась и дала ему пощечину.

— Эгги, ну, пожалуйста...

— Пожалуйста! — Она саркастически усмехнулась. — Джозеф Мак-Суин, кто бы мог подумать, что вы выкинете по отношению ко мне такой номер!

— Какой номер?

— Кто бы мог подумать! Кому пришло бы в голову, что, изо дня в день работая над своей машиной, вы мне даже не намекнули, что это атомная установка! Я никогда...

— Эгги, это не...

— Джозеф Мак-Суин, теперь уже нет никаких сомнений, что вы самый низкий, самый гнусный...

Вокруг них начала собираться толпа. Оно и понятно: не часто увидишь парня в женской одежде, который ссорится на улице с девушкой. И не каждый день услышишь, чтобы девушка так ругалась, как тогда Эгги.

Джо стоял и слушал. Спустя немного он, как видно, понял, что бесполезно ждать, пока она утихомирится. А тут еще раздался чей-то крик:

— Это же Мак-Суин! Тот самый атомник!

Мы с Джо рванули через дорогу к моей машине, прыгнули на сиденье, и я дал газ. Потом я оглянулся — Эгги даже не смотрела в нашу сторону.

Я вел машину, а Джо сидел как пришибленный. Через некоторое время он снял шляпу с цветами, расстегнув «молнию», стянул с себя платье и бросил все это на заднее сиденье. На нем остались одни шорты.

— А знаешь, Эл, — проговорил он, — если б я на самом деле изобрел атомную машину, мне б никто не поверил.

— Возможно, — сказал я.

К этому моменту лично я уже готов был уверовать во что угодно. Я повел машину по направлению к Сидэ-Хиллу, маленькому городишке милях в пятнадцати от Парксайда; там я остановился возле универсального магазина, и Джо купил себе рабочий комбинезон: к счастью, он захватил с собой бумажник. Он по-прежнему молчал — так и сидел молча с закрытыми глазами.

Когда мы проехали миль этак тридцать пять, Джо наконец заговорил.



— Эл, — произнес он, — я считаю, что мне необходимо сделать еще одну попытку. Останови машину у следующей заправочной станции.

Я выполнил его просьбу; Джо вошел в помещение станции, набрал номер «Парксайдского курьера» и попросил к телефону редактора. Редактора позвали.

— Говорит Джо Мак-Суин, — сказал Джо. И тут же на его лице отразились растерянность и недоумение. Он перевел взгляд с телефонного аппарата на меня. — Он сразу бросил трубку — не поверил, что это я. Посоветовал, чтобы я вкручивал шарики кому-нибудь другому.

— Вот незадача! — сказал я. — А может, попробуешь еще?

— Нет. Едем обратно. Я заставлю их выслушать меня!

Когда мы вышли на площадку перед станцией, к Джо обратился мальчишка, обслуживавший одну из бензоколонок:

— Пожалуйста, мистер Мак-Суин, дайте мне ваш автограф.

— Не дам! — рявкнул Джо. — Отвяжись!

В первый раз на моей памяти Джо Мак-Суин грубо обошелся с ребенком. «Проклятье! — подумал я. — До чего они его довели!» Обратно мы ехали медленно, и за всю дорогу Джо произнес одну-единственную фразу:

— Не понимаю, почему Эгги устроила такую сцену?

Из парксайдской аптеки мы вышли где-то между десятью и половиной одиннадцатого, а теперь на моих часах было около двух. Я свернул на Парксайд-авеню, мысленно прикидывая, какой нас может ждать очередной сюрприз. Долго мне гадать не пришлось.

Еще издали мы увидели, что в нашем квартале что-то происходит. Сперва я подумал, что перед домом Джо еще толпится прежняя публика, но ошибся. Знай я тогда, в чем дело, я бы немедленно развернул машину и жарил оттуда на полной скорости, пока мы не отъехали бы от города миль на сто. Но в ту минуту я даже ничего не заподозрил, поэтому мы мирно катили вперед; а когда подъехали поближе, увидели, что улица перегорожена барьером. На барьере висел плакат такого содержания, что в первую секунду мы не поверили своим глазам: «Военная зона. Посторонним вход воспрещен».

К нашей машине подошел сержант военной полиции, вооруженный пистолетом и дубинкой.

— Что вам здесь нужно?

— Я тут живу, — ответил Джо. — Что случилось?

— Ваше имя? — потребовал полицейский, доставая из кармана листок бумаги.

— Мак-Суин. А его — Эл Найлз.

Полицейский пристально посмотрел на Джо, потом мельком взглянул на меня.

— Предъявите документы. Вы оба. Удостоверения личности.

Мы вытащили бумажники и показали ему наши права на вожделение машины, фотокопии справок о демобилизации и пропуска на завод «Тернбулз».

— Хм, — промычал он и, еще раз просмотрев эти документы, сказал: — Вроде бы все в порядке. Мак-Суин, отправляйтесь к себе домой. Вы, Найлз, следуйте за ним. Вас хочет видеть полковник. Вас обоих.

Он не разрешил нам подъехать к дому на машине, и дальше мы пошли пешком.

— Эл, что происходит? — спросил Джо. — Мы действительно идем сейчас по Парксайд-авеню или это сон?

Я не ответил — я был всецело поглощен открывшимся перед нами зрелищем. На улице возле дома Джо стояло три военных грузовика, а само здание было оцеплено полицейскими. Вид у них был деловой и сосредоточенный. Один из полицейских прибывал к парадной двери табличку с надписью: «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНАЯ ЗОНА». Другой шагнул нам навстречу.

— Документы! — прорычал он.

Мы подали ему те же бумажки, что уже побывали в руках у первого полицейского, и он, прихватив их с собой, вошел в дом Джо. Минуты через две он вернулся и сказал:

— Полковник Трикс говорит, что пока этого достаточно. Спускайтесь в подвал и ждите. Полковник побеседует с вами примерно через час.

— Что все это значит? — спросил Джо. — Какой полковник?

— Полковник Джордж П. Трикс, которому поручено расследование, — объяснил полицейский. — Идите в дом и постарай-



тесно не шуметь в коридоре. Полковник занят важным делом.

— А резинку жевать можно? — спросил я.

— Попрошу без шуток! — рявкнул полицейский. — Вы не на вечеринке.

Итак, мы вошли в дом. Дверь гостиной была плотно прикрыта, мы протопали по коридору и спустились в подвал — правда, у двери в подвал нам пришлось предъявить документы еще одному жандарму. На полпути вниз Джо неожиданно обернулся, словно ему в голову вдруг пришла какая-то новая мысль.

— Эл! — воскликнул он, схватив меня за руку. — Что они сделали с моей мамой?

— О черт!

Мы повернулись и, взбежав по лестнице, забарабанили в дверь. Она открылась, и на пороге появился полицейский.

— Где моя мать, ты?.. — выдохнул Джо.

Полицейский и глазом не моргнул.

— Полковник решил, что, пока ведется расследование, ей лучше покинуть дом, — сказал он. — Миссис Мак-Суин в настоящее время проживает в «Парксайд-отеле» — разумеется, за счет правительства.

— Какое великодушие со стороны правительства! — заметил Джо.

— У вас все? — поинтересовался полицейский.

— Нет. Позвоните в редакцию «Курьера» и попросите прислать сюда какого-нибудь здравомыслящего репортера, — потребовал Джо. — Такого, который способен понять простую английскую речь.

— Очень сожалею, — сказал полицейский, — но полковник не разрешит пропустить сюда ни одного представителя прессы.

Джо вытаращил на него глаза, потом покачал головой и посмотрел на меня. Мы молча обменялись взглядами, повернулись и сошли по лестнице в подвал.

В подвале горели все лампы; мало того — они установили еще несколько дополнительных осветительных приборов. Там было светлей, чем днем. В самом центре помещения стояла машина Джо, настороженно замерев, точно в ожидании каких-то важных событий. Мы сели на верстак и уставились на это треклятое сооружение. «Сколько же из-за тебя мороки! — подумал я. — Ох, сколько же мороки!»

— Эл, — произнес Джо, — как мне им это растолковать?

— Единственное, что ты можешь и должен сделать, — это объяснить им все еще раз. Поговори с полковником.

— Эл, ты ведь знаешь этих полковников, — прошептал Джо.

Не прошло и минуты, как мы выяснили, что собой представляет наш полковник. С верхней ступеньки лестницы донесся зычный окрик:

— Эй, вы там, внизу!

Секунда-две тишины, после чего тяжелые шаги спускающегося по лестнице грузного тела. И перед нашими глазами предстал полковник Джорд П. Трикс.

Вид у него был внушительный, ничего не скажешь. Он походил на гору, увенчанную снеговой шапкой — только с тремя подбородками. На его груди красовались ряда четыре орденских колодок и разнообразных медалей, включая значок снайпера. Мы с Джо спрыгнули с верстака. При таком раскладе мы знаем, как себя вести.

Обращаясь ко мне, полковник произнес:

— Рад познакомиться с вами, мистер Мак-Суин.

— Вот Мак-Суин, — сказал я, указывая на Джо.

С этого момента полковник больше не смотрел в мою сторону. Он быстро пожал Джо руку, словно спешил поскорей разделаться с этой формальностью. Затем он немного отступил назад и оглядел подвал с таким выражением, будто инспектировал казарму.

— Господин полковник, — проговорил Джо, — прежде всего я хочу поставить вас в известность, что все это — полнейшее...

Однако полковник его не слушал. Он вперил взор в полки над верстаком.

— С этих полок, — заявил он, — мы должны тщательно стирать пыль. Вы же знаете, что пыль на полках опасна для жизни.

У Джо вылезли глаза на лоб. Я сказал:

— Правильно. У нас на «Тернбулзе» от радиоактивной пыли люди мрут как мухи.

Но для полковника я был неодушевленным предметом.

— Итак, мистер Мак-Суин, — сказал он, — где же ваш доклад? Проводимое мною расследование требует, чтобы я с ним ознакомился. Будьте любезны отдать его мне.

— Доклад? — изумился Джо. — Да у меня нет никакого...

— Мак-Суин, пусть вас не беспокоит вопрос о моих полномочиях, — рубил дальше полковник. — Меня сюда прислал сам шеф, руководствуясь приказом министра внутренних дел. Будут приняты соответствующие меры предосторожности. Утечка информации исключается. Вы можете спокойно отдать мне свои бумаги.

— Господин полковник, — сказал Джо, — мне до лампочки, даже если вас прислал сюда дух Исаака Ньютона.

На лице Джо появилось какое-то странное выражение — таким я его никогда не видел.

— Не упрямитесь, мистер Мак-Суин, — настаивал полковник. — У меня еще столько дел... Мы должны установить, возможно ли заэкранизировать ваш дом со всех сторон радиолокаторами; мы должны... Короче, как вы понимаете, я очень, очень занят. Так вы дадите мне наконец ваши бумаги?

— Нет, господин полковник, — сказал Джо. — По той причине...

У полковника затряслись все три подбородка.

— Вы отказываетесь, мистер Мак-Суин? — прервал он Джо. — Вы игнорируете мои полномочия?

— Я ничего не игнорирую, — возразил Джо. — Я только хочу вам сообщить, что таких бумаг не существует. И кое-что еще. Я...

— Что вы сказали? — Судя по его виду, такое заявление показалось полковнику Триксу невероятным. — У вас нет никаких бумаг? А чертежи?

— Нет никаких чертежей. Ничего.

— Не понимаю. Вот уж чего я не ждал, мистер Мак-Суин, — произнес полковник, притворно заржав на армейский манер. — Честное слово, я не могу тратить время на шутки. Шеф ждет от меня доклада. А теперь будьте любезны показать мне, как работает ваша машина. Достаточно небольшой демонстрации — мне нужно получить лишь общее представление.

Джо направился к верстаку.

— Хорошо, — сказал он. — Вы хотите посмотреть, как работает машина, — я вам это покажу. Быть может, тогда вы наконец поймете, почему эта...

Он щелкнул выключателем, и конец фразы потонул в реве и грохоте заработавшей машины. Взад-вперед заскользили приводные ремни, вертелись колеса, скрежетали зубчатые передачи, вспыхивали разноцветные лампочки, выдвинувшаяся красная стрела пошла на захват хомутов... И все это производило совершенно неопиcуемый шум. Я подумал, что даже сам этот грохот, возможно, придавал сооружению сходство с самой что ни на есть настоящей атомной машиной.

Демонстрация явно произвела на полковника сильное впечатление.

— Какова ее мощность? — заорал он, перекрывая шум.

— Что вы имеете в виду, господин полковник? — в ответ проревел Джо.

— Меня интересует ее производительность!

— Никакой! — крикнул Джо. — Она ничего не производит! Полковник не расслышал и знаком попросил Джо выключить машину.

— Говорю вам, она ничего не производит, — сказал Джо, когда машина утихла. — Она совсем не то, за что вы ее принимаете, господин полковник. Это просто машина. Машина, которую я смонтировал ради забавы. Она только работает, вот и все.

Полковник пожал плечами и направился к лестнице.

— Майор Стоутон! — позвал он. — Майор Браун! Лейтенант Вайнер! Лейтенант Борст! Сержант Инглиш!

Все они быстренько спустились в подвал и замерли, как оловянные солдатики.

— Что угодно, господин полковник? — спросил один из лейтенантов.

— Какова по приблизительным расчетам мощность этой машины? — спросил полковник.

Лейтенант достал из кармана некий предмет, похожий на медицинский термометр, и, прищурив один глаз, посмотрел на машину через отверстие на его конце.

— Около сорока, — немного повременив, сообщил он.

Остальные офицеры вооружились карандашами и что-то застрочили в маленьких блокнотах.

Полковник кивнул.

— Почти верно, не так ли, мистер Мак-Суин?

— А чего сорок? — спросил Джо.

— Мистер Мак-Суин, — сказал полковник, — прошу вас отнестись к этому серьезно. Я...

— Замолчите! — Джо внезапно побагровел и тяжело задыхался. — С той самой минуты, как вы спустились сюда, я пытаюсь вам все объяснить, а вы затыкаете мне рот! Хорошо, я буду серьезным. Я...

Он схватил с верстака гаечный ключ и замахнулся им как полицейской дубинкой.

Все офицеры сразу прекратили писать.

— Я вам покажу! — выкрикнул Джо. — Я вам покажу вашу проклятую атомную машину!

И прежде чем кто-либо смекнул, что происходит, он кинулся к машине, поднял гаечный ключ и с силой обрушил его на пульт управления, потом сорвал ключом приводной ремень и зубчатую передачу, сломал колесо...

Полковник быстро оправился от изумления. Он стал действовать, точнее, развили деятельность его подчиненные. Трое прыг-



нули на Джо, двое — на меня. «Измена!» — заорал кто-то. Вопили и визжали все без исключения, подняв страшный гвалт, а Джо кричал:

— Вы не смеее! Это моя машина, и я имею право сломать ее, если мне так хочется! Отпустите меня! Вы все спятили! Это же не атомная машина!

Им пришлось нести Джо по лестнице на руках. Следом поднялся я — с помощью двух других офицеров. Таким вот образом нас извлекли из подвала и заперли в комнате Джо.

Сейчас он спокоен — я имею в виду Джо. Как я уже говорил, мы только что обсудили с ним всю эту историю, после чего я ее изложил в письменном виде. Быть может, я упустил кое-какие детали, но мне все-таки кажется, что описание получилось достаточно подробным.

По мнению Джо, все это произошло потому, что некоторые всегда во всем ищут то, чего на самом деле нет. Он считает, что, видимо, сделал большую глупость, соврав насчет засекреченности машины, поскольку, когда он потом сказал правду, ему никто не поверил.

— Есть люди, которые просто неспособны видеть вещи такими, какими они есть в действительности, — сказал мне давеча Джо. — Я ведь не стремился вызвать эту чертову шумиху. Я всего-навсего сделал машину — только для того, чтобы отвлечь мысли от «Тернбулза», — а ее у меня отняли. Они привлекают ученых и выяснят, что к чему, но мне от этого не легче. Ведь тогда они обвинят меня в том, что я умышленно ввел их в заблуждение. Вот увидишь.

Такие, значит, дела. Они заперли нас с Джо в этой комнате, а сами в подвале пытаются починить машину, которую до сих пор еще считают атомной; и мы с Джо вовсе не убеждены, что они когда-нибудь докопаются до истины. Может, конечно, так обернуться, что в процессе расследования все выяснится наилучшим образом. Нас с Джо оставят в покое; Джо помиритсЯ с Эгги; мама Джо вернется домой из отеля, где она проживает за счет правительства, а мы с Джо уволимся с «Тернбулза» и снова устроимся на работу в мастерскую Крага. Я говорю «может быть». Я ведь далеко не уверен, что эта петрушка кончится именно так: у меня в голове прежняя путаница, и я не в состоянии предугадать, как развернутся события.

Перевела с английского С. ВАСИЛЬЕВА



ТУМАННЫЙ ДЕНЬ

Фантастический рассказ



адевайте плащ, — сказал мне мой друг Флери-Мор. — Становится свежо, а я хочу показать вам мои грибные плантации.

— Далеко они?

— В двух шагах. Это там, наверху. — Геолог показал на вершину холма. — Видите эту шишку, Шантерен? Она заслуживает того, чтобы быть знаменитой. Из ее камня сложен Реймский собор, хотя бы частично. Гора буквально пронизана подземными галереями; это заброшенные каменоломни. Две из них я использую для разведения моих грибов; эти галереи открываются по другую сторону холма. Можете взять ружье, мне здесь дано право охоты. Идемте!

— Уже поздно... четвертый час...

— Мы вернемся задолго до ночи. Ну, в путь!

Я взял свое ружье — калибр 12 — и сумку. Честно говоря, я не имел ничего против экскурсии, так как я старый любитель природы и неутомимый наблюдатель сумерек.

Был день 26 октября 1907 года.

Тропинка стлого поднималась среди убранных виноградников и спаржевых плантаций. Крестьяне собирали опавшую листву и складывали в кучи, чтобы сжечь; повсюду мелькали огни, и в ти-

хом воздухе стояли столбы дыма. Мы не спеша поднимались к горному лесу, окрашенному в тона меди и ржавчины. Я часто оглядывался через плечо на открывавшуюся внизу лощину. Когда мы подошли к опушке леса, тропинка, сделав поворот, открыла всю лощину сразу — обширный, расширяющийся вдаль полукруг, прекрасную картину только что начавшегося брюмера, — месяца туманов. Несмотря на неприветливую, холодную погоду, несмотря на тусклое небо и на дымку, слишком рано затянувшую бо-лотистые дали, покров пожел-



тевшей листвы сверху казался словно освещенным солнцем. Поднимаясь все выше, мы прошли лес. Ни одно дуновение не шевелило ветвей. Время от времени в лесу осыпалось дерево, и этот тяжелый шорох походил на шум дождя. Чувствовалось непобедимое замирание, предвестник зимы; было ясно, что природа застывает с каждым часом все больше, что осень подходит к концу... Потом дорога спустилась в какую-то песчаную выемку, похожую на траншею. Но прежде чем пойти дальше, мы остановились, и тут я впервые заговорил о тумане, заметив, что болотная дымка затянула уже почти все внизу, как плесень, сероватый налет которой сгущается на глазах. Над Кормонвиллем нависло плоское облако; невидимые руки ткали из конца в конец долины паутинные покрывала, неподвижные и все менее прозрачные, а на бесконечной равнине не возникали, неведомо откуда

да, все новые длинные дымные полосы. Не успели мы тронуться в путь, как они запушили уже все пространство, вплоть до края, откуда вскоре должна была подняться ночь.

— Поторопимся, — сказал Флери-Мор. — Так недолго и простудиться.

Я спустился за ним в выемку.

Через минуту мне показалось, что все вокруг становится каким-то неясным. Я провел рукой по глазам, но дымка не исчезала. Это был туман. Он уже окутывал нас своей кисеей.

— Вы не боитесь, что мы заблудимся в тумане? — спросил я.

Мы шли между песчаными, прослоенными рыхлой землей стенками. Мой спутник взял горсть этой земли, растер и показал мне. И я увидел множество известковых частиц, крохотных осколков раковин аммонитов и других морских доисторических животных;



Морис Ренар — известный французский ученый, путешественник, писатель. Его фантастические романы «Ошибка Ришара Сирюза», «Синяя опасность», рассказы «Пещера чудовищ» и другие в двадцатые и тридцатые годы пользовались широкой популярностью, были переведены на многие иностранные языки, в том числе и на русский.

Фантастика Ренара своеобразна. Герои ее, как правило, ученые, исследователи; в основе большинства произведений

писателя лежит поиск научной истины, столкновение героев с какой-либо научной загадкой; и все же менее всего фантастике этого автора подходит определение «научная».

Вооружившись любой популярной книгой, не говоря уже о серьезной научной литературе, читатель без труда найдет в произведениях Мориса Ренара множество неточностей, даже нелепиц. Оказывается, писатель произвольно датирует геологические эпохи, «изобретает» виды доисторических животных, каких быть на Земле просто не могло, строит свои собственные, весьма неправдоподобные гипотезы о происхождении жизни на Земле и т. д.

некоторые из них сохранились в целости, благодаря миниатюрным размерам.

— Ну что я вам говорил утром?

То, что он говорил мне, я помнил превосходно; и сейчас я снова словно бы со стороны увидел тот момент, когда наш автомобиль вырвался из Арденнского леса. Это было так внезапно, как если бы солнце взшло вторично. Равнина Шампани раскидывалась перед нами насколько хватал глаз — белая, меловая, всхолмленная крупными красивыми складками; они словно двигались, и равнина походила на море — такая она была огромная и волнистая. Селения, разбросанные там и сям, были как скалистые островки. Сосновые рощицы темнели своими как по шнуру протянутыми прямоугольниками. Вдали виднелась дорога, такая прямая, что ее можно было принять за пристань.

«Мы делаем по семьдесят

пять километров», — заявил тогда Флери-Мор. А мне хотелось, чтобы он сказал: «Мы делаем по сорок узлов», — настолько местность внушала иллюзию моря.

«Конечно! — вскричал Флери-Мор, когда я сказал ему об этом. — Шампань похожа на океан, как дочь на отца. Все говорит о ее нептуническом происхождении, о том, что на ее месте было доисторическое море. И смотрите: вон там видны холмы, ставшие первой сушией, — это было в эоценовую эпоху, когда море постепенно отступило...»

Вот о чем я вспомнил сейчас.

— Все это очень хорошо, друг мой, — сказал я. — Но этот туман! Разве вы не боитесь заблудиться, если он сгустится?

— Ничуть! Я знаю эти места наизусть. Я дошел бы до своих плантаций с закрытыми глазами! Впрочем, туманы у нас никогда не бывают густыми. Если хотите, мы ускорим

Научная достоверность в его книгах явно принесена в жертву занимательности, фантастические предпосылки иной раз просто абсурдны, нелепы... В чем тут дело? Ведь не так-то просто обвинить Мориса Ренара, известного ученого, в незнании...

Ответ на вопрос, конечно, нидо искать в другом. Разве не может случиться так, что знакомство с самыми неправдоподобными гипотезами, «поданными» в занимательной, остроужетной форме, пробудит интерес к действительным научным представлениям о поднятой проблеме? А ведь это и есть главная цель фантаста Мориса Ренара. Его фантасти-

ка — не точный путеводитель по миру науки, а умное и умело составленное приглашение в этот мир. И не сосчитать, сколько молодых читателей Ренара приняли это приглашение с удовольствием.

К такой своеобразной фантастике относится и публикуемый на страницах «Искателя» рассказ «Туманный день». Конечно, вряд ли кто станет изучать по нему далекое прошлое нашей планеты. Однако он, без сомнения, вызовет у читателя интерес к этому прошлому, желание подробнее ознакомиться с последними научными гипотезами, посвященными проблеме происхождения человека.

шаг и быстро выйдем из него.

Действительно, выйдя вскорее из выемки, дорога стала круче, и дымка вокруг нас стала более прозрачной. Я воспользовался этим, чтобы оглядеться, и увидел, что зато внизу под нами туман стал еще гуще, он уже скрыл Кормонвилль. Долина до половины заполнилась туманными завитками; они распространились до самых дальних ее пределов и затопили весь простор.

Наконец мы поднялись на горную террасу, усеянную щебнем и поросшую можжевельником. Это место показалось мне таким печальным, что мне стало даже как-то неловко за то, что я нахожусь здесь не в трауре и не в отчаянии. Одиночество, тишина и неподвижность дополняли и усиливали друг друга. Местность, овеянная неопределенной тайной меланхолией, казалась воспоминанием о пейзаже. Мы словно видели постель, готовую растаять.

Флери шел не останавливаясь. Наши башмаки попирали жесткую, режущую траву.

— Черт! Это все-таки странно! — воскликнул мой проводник.

Глядя отсюда, можно было подумать, что Шампань превратилась в огромную снежную равнину. Все исчезло, поглощенное арктической поверхностью, отсвечивающей под тусклым солнцем. И самым острым здесь было создаваемое этим явлением чувство одиночества. У меня было впечатление, что этот пушистый всемирный потоп пощадил только нас на нашем холмике; это чувство было бы полным, если б издали не слышались голоса дровосеков, странно звучащие под

этим непроницаемым слоем.

— Здесь и устроены мои грибницы.

Он свернул с дороги на тропинку. Слева от нас, на круто поднимающемся откосе, теперь тянулась сосновая посадка; справа спускался, теряясь в тумане, крутой склон, заросший терновником, ломоносом с засохшими, похожими на пауков цветами.

Склонившееся уже солнце, еще недавно сиявшее, было теперь бледным диском, затуманенным испарениями, — двойником луны. Вдалеке уже ничего не было видно. Вокруг кустов извивались фестоны легкие струн вроде гигантских паутинных нитей. А самый туман уже подбирался украдкой, чтобы затопить нашу тропинку.

И вдруг солнце погасло, как китайский фонарик, в котором задули свечу. Нас окружила белесая тьма. Кусты орешника то появлялись, то исчезали, как расплывчатые пятна. Этот бледный мрак был ледяным; он сгущался, и свет угасал все более.

Не внимая моим советам, любитель грибов упрямо продвигался к своим плантациям. Я видел его все менее и менее ясно, как смутную тень, как его собственную тень, которая вдруг встала бы и отправилась бродить самостоятельно. Теперь мы с трудом различали только тропинку — вернее, лишь кружок почвы, в центре которого находились. Я шел в тумане, как шло бы в темноте какое-нибудь светящееся существо, не видящее ничего, кроме своего ореола. Но как же это было тяжело! Пыльный, влажный запах проникал в

самую глубь моих легких; зубы у меня стучали, брови и борода промокли, одежда покрылась бесчисленными росинками. Казалось, что я превращаюсь в губку, пропитанную талым снегом, в ходячую ледяную сосульку.

Тем временем туман непрерывно густел. Он заполнил весь воздух. Он заглушал наши шаги. Он был так плотен, что в нем трудно было дышать, и так влажен, что в нем не задохнулась бы и рыба. Положительно, воздух превращался в воду!

Я попытался выразить свою тревогу шуткой:

— Не придется ли нам плыть, друг мой, как в те незапамятные времена, когда над этими холмами шумел океан?

Голос звучал, как сквозь кляп. Флери-Мор меня не услышал или притворился, что не слышит. Но безмолвный призрак, шедший впереди меня, вдруг замедлил свои беззвучные шаги. До этого момента я мог видеть вытоптанную, пыльную почву, по которой ступают мои блестящие от росы башмаки; теперь и она исчезла. Флери-Мор остановился. Я взглянул на его ступни; их не было видно. В окружающем нас тумане поднимался какой-то второй туман. Он доходил нам уже до колен. Он был холодный как лед, и этот холод пронизывал нас насквозь.

Флери-Мор наклонился ко мне.

— Лучше подождем, пока это пройдет, — сказал он самым естественным тоном. — Право, так можно и заблудиться! Но это не продержится долго. Очень интересный случай, знаете ли. Редчайший!

Его спокойные слова доходили до меня, как через плохой рупор. Они выходили вместе с клубами пара, которые туман поглощал немедленно.

— Любопытно, что будет с нами дальше, — с трудом произнес я. — У меня в ногах адские боли... и они поднимаются все выше...

— А что, по-вашему, может с нами случиться? — фыркнула грязно-серая тень.

Я схватил Флери-Мора за руку, и мы стали следить за своим исчезновением. На глазах у себя мы превратились в тени бюстов, потом в тени голов, а потом совсем в ничто. И пока мы следили за исчезновением своих тел, сами эти тела испытывали ужасную муку, ибо погружались постепенно в какую-то давящую, холодную среду, страшнее самой смерти. Я не видел даже своих пальцев, поднесенных к самым глазам. Я словно ослеп... И вдруг нервы у меня словно встали дыбом. Внезапная уверенность поднялась во мне — уверенность в том, что здесь есть, от чего задрожать! **ПРОИСХОДИЛО ЧТО-ТО НЕБЫВАЛОЕ!**

Геолог приблизил губы к моему уху. Он говорил громко и спокойно:

— Удивительно, знаете ли, что такой насыщенный туман не разрешается дождем... куда там, снегом, градом!.. И еще меня удивляет, что при таком страшном холоде вода, пропитывающая нас, не замерзает...

Я лизнул свои мокрые усы и убедился, что этот туман не только холодный, но и соленый.

— Ну скажите, слышали вы когда-нибудь о подобном

приключении? Это словно слезы самой смерти... Только не отходите от меня!

— Нет, я не двигаюсь... Мы сделаем доклад. Определение: полный мрак, но беловатый, тускло-белого цвета... А! Смотрите, он, кажется, светлеет!

— Да, начинает светлеть.

Вокруг нас становилось светлее. Неосвязаемая вата, окутавшая нас, окрасилась намеком на зарю. Слабый свет, трепеща, уже расплзался в ней, но прозрачность еще не возвращалась.

Я увидел прежде всего тень Флери-Мора, который постепенно материализовался. Мой коллега удивлялся:

— О черт! Где?... Что такое?... И все-таки я уверен, что остановился на тропинке...

— Ну? — встревоженно спросил я.

— И что это за красный песок у меня под ногами?

— Мы, вероятно, сбились с дороги.

— Сбились с дороги, где? Как? Этот красный песок — здесь! С каких пор?

— Может быть, это действие соленого тумана... вода прореагировала с молекулами почвы... Но посмотрите, как еще неясна, как расплывчатая на вид эта почва!

Флери наклонился, разглядывая красный песок.

— Вот и ветер поднимается, — заметил я.

Он быстро выпрямился.

— Что вы говорите?

— Я сказал, что ветер поднимается. Разве вы не слышите его шум в сосняке?

— А разве вы не видите, что туман неподвижен и, значит, ветра нет и не может быть?

— Но вы вслушайтесь.

— Да, но этот шум... шум ветра... он идет справа...

— Ну так что же?

— Справа сосен нет! Это не шум ветра.

— А что же тогда?

— Сейчас мы узнаем. Этот проклятый туман рассеивается.

Освещенность усиливалась с какими-то утомительными колебаниями. В то же время холод уменьшался. Круг видимости расширился. Появились неясные предметы: камни, пучки травы. Присмотревшись к ним, геолог вскричал:

— Смотрите!

Но тут откуда-то из непроходимой глубины раздался резкий вопль — хриплый, свирепый трубный клич, напommнивший мне зверинцы, цирки, зоопарки...

Бледнея, мы смотрели друг на друга расширенными глазами, в которых начинала проявляться одна и та же невероятная догадка.

Флери был испуган, но все же прошептал упрямо:

— Вы ботаник: рассмотрите-ка эти травы!

Но, охваченный инстинктом самосохранения, я весь превратился в один судорожный порыв к бегству. Мне захотелось умчаться отсюда и бежать, бежать без оглядки. Флери удержал меня.

— Стойте на месте, ради всего святого! Я не знаю в точности, где мы находимся... Обрыв должен быть где-то здесь, совсем близко. Вы можете упасть. И потом, — прибавил он повелительно, — вспомните, кто вы, черт возьми! Подумайте о своем звании. Мы должны благословлять то, что с нами происходит. Никто не может быть достойнее нас, чтобы наблюдать такие явления! И ска-

зять только, что все это кончится лишь докладом в той или иной секции института!

Эта нотация вернула мне хладнокровие.

— Согласен, — сказал я. — Но согласитесь и вы, что можно же потерять рассудок, увидев посреди Шампани **ТРОПИЧЕСКИЕ ТРАВЫ** и услышав...

— Погодите! — прервал он, протянув руку в предполагаемом направлении обрыва. — Вот что вы считаете ветром!

— Оно усиливается... Это не ветер!

— Я вам не подсказывал.

— Это шум реки... или потока... Большой реки...

— Внимание! Вот что-то новое, Шантерен!

Дрожащий свет все продолжал усиливаться, и вокруг нас вырисовывались предметы; один из них, поближе к нам, казался качающейся колонной, суживавшейся кверху. Позади нее проступали другие стройные стволы. Однако было бы неверным сказать, что туман рассеивался. Предметы не появлялись, как выходящие из дымки, — они обрисовывались словно бледным карандашом, а потом принимали форму, словно изваянные из этого же летучего материала. Они создавались из тумана. И самый шум реки казался звуком, присущим туману, как присущей ему казалась теплая свежесть со смолистым запахом.

— Ах, Шантерен! Дерево! Там!

— Боже мой!..

Вершина колонны выходила из неизвестного. Это был пучок листьев. Перед нами выросла пальма. Мы видели ее в неверном, трепещущем свете, который все время де-

формировал ствол и заставлял его извиваться, как змею. За нею возникала целая пальмовая роща, колеблемая теми же волнами.

Так пляшут отражения в воде у берега. Все, что мы видели вокруг себя, трепетало и переливалось. Кроме того, видимость все время проходила через чередование света и тени. И я не замедлил открыть, что затронуто у нас было не только зрение. Смолистый запах усиливался от прилива к приливу; шум реки был чередованием форте и пиано, а теплота возрастала толчками, подчинявшимися фантастическому всеобщему ритму: все эти усиления и ослабления совпадали в точности, будь они слуховыми, обонятельными или зрительными.

Они сглаживались, однако, по мере того, как местность освещалась. Туман прояснялся, как изображение на экране, когда его наводят на фокус при колеблющемся освещении. Фотографам легче понять другое сравнение, — с изображением, появляющимся на пластинке, покачиваемой в ванночке с проявителем. С каждой секундой невероятный пейзаж становился яснее, прочнее, глубже. Круг — вернее, цилиндр — видимости достигал уже шагов двадцать в радиусе, когда Флери-Мор сделал вывод:

— Это мираж, как в пустыне. Только это мираж особенный, **ОХВАТЫВАЮЩИЙ НАС**; он дает не просто иллюзию оазиса над озером вдали, а иллюзию того, что мы **НАХОДИМСЯ** где-нибудь в Африке или еще где-то.

— Да, — прибавил я, — действительно, особенность его заключается в том, что

он нас окружает. А сверх того он затрагивает не только зрение, но и слух и обоняние.

— Превосходно! Это мираж, при котором мы видим, слышим и обоняем то, что находится очень далеко от нас. В пространстве есть и какая-то — хотя бы односторонняя — зрительная, слуховая и обонятельная связь между тем местом, где мы находимся в действительности, и тем, которое проецируется на туман вокруг нас. Я знал, что красный песок... Посмотрим, Египет, не правда ли? Нет...

— Нет, — повторил я, изумленный и взволнованный. — Южнее... Я думаю... мне кажется... это все экваториальные растения... Но вот попали... баобаб... И все-таки...

— Что такое?

— Боже мой! Флери, это... этот веер на пальме, словно павлиний хвост... вон там, просвечивает в тумане... Вы узнаете его?

— О, это невозможно! Дихо... дихотом Капской области... или Мадагаскара...

— Да, Флабеллярия Ламанонис! Из Капской области, с Мадагаскара — или ИЗ ТРЕТИЧНОЙ ЭПОХИ!

— Из третичной эпохи? Что вы говорите!

— Присмотритесь! Взгляните на эти древовидные папоротники рядом с нею!

— Это осмондии... Цейлонские осмондии...

Нет, нет! это ВЫМЕРШИЙ вид!

— Вы уверены?.. Ах, ну конечно! Смотрите, смотрите, это пальма... ЗОНТИЧНАЯ ПАЛЬМА!.. А что еще? Олеандры... камфарные деревья... мирты... береза!

— Виноградные лозы! Плющ! Орешник!

— Да, покритосеменные.

Тут шум воды усилился до того, что мы круто повернулись в ту сторону. Там был туман, и красный песок спускался туда отлогим склоном. Шум за завесой утих. Брызнула пенящая волна и грациозно рассыпалась шуршащим кружевом. За нею последовала другая, шумная, как водопад. Песок увлажнился, зашипела пена, полетели брызги...

— Море! — пробормотал я. — Море, которое было здесь миллионы лет назад!

У края прибоя чернели два утеса.

— Значит, это мираж не только в пространстве, — заявил в полном восторге Флери-Мор. — Это еще мираж и во времени!

— Это мираж только во времени, — возразил я. — Место, где мы себя видим, — это и есть то, где мы находимся в действительности. Все дело в том, что мы сдвинулись во времени, но в пространстве мы не двигались. Смотрите сами!

Туман все рассеивался. Довольно низкий, он нависал над нами, словно облачный потолок; но в остальных направлениях пейзаж был виден совершенно ясно. И он был виден достаточно, чтобы можно было узнать приблизительную конфигурацию Кормонвилльского холма, его выступов и долины, с излучиной которой совпадало это древнее взморье. Сомнений не было: анакронический каприз природы позволял нам увидеть Марну в ее доисторические времена. Эти дубы и клены были первыми дубами и кленами Европы; эта виноград-

ная лоза — первым виноградом Шампани...

В этот момент тучи у нас над головами разорвал ужасающий крик. Мы подняли головы, но увидели только исчезающую тень, огромную и крылатую. Я не мог понять, почему этот крик так потряс меня, но знал, что никогда больше не забуду его звука. На Флери-Море лица не было. Оба мы дрожали. И тут же мы снова услышали из тумана тот трубный клич, что недавно еще так встревожил меня; знакомый уже этот трубный звук повторился несколько раз подряд, из различных точек пространства; и Флери-Мор, прислушиваясь, спрашивал меня взглядом.

— Хоботное, не правда ли? — сказал он потом.

— Несомненно.

— Черт! А затрагивает ли этот мираж и осязание?

Он наклонился и сорвал несколько стебельков альфы.

— Гм! — проворчал он.

— Что такое?

— Смотрите сами.

Результатом было то, что я зарядил ружье двумя пулевыми патронами. При виде этого Флери-Мор сказал:

— Это безумие! Или мы видим сон? То, что вы сейчас сделали, — нелепость! Все это нам снится — видения, вызванные туманом! Может быть, он ядовит, и мы бредим...

— Сновидений вдвоем не бывает, а такие люди, как мы с вами, не могли бы галлюцинировать одинаково и в одно и то же время. Нет, нет, Флери: так как подобного фокуса не мог бы проделать ни один фокусник, то, значит, это мираж нового типа, — целостный мираж во времени. Мы видим, слышим, обоняем, осязаем и чувствуем на вкус

картину прошлого, как иногда в пустыне видим — и только видим! — картину того, что находится за пределами видимости.

Теперь нас угнетала тепличная жара. От нашей промокшей одежды валил обильный пар. Я снял плащ.

И море — БЫЛО. И небо — БЫЛО. Блестящее море под темно-синим небом. В туманном ореоле поднималось большое розоватое солнце. Значит, было утро, и все же...

Я взглянул на свой компас-брелок.

— Посмотрите на солнце, Флери, как странно оно расположено...

Мой спутник не мог удержаться от улыбки.

— Вы забываете, — сказал он, — что с момента своего рождения Земля не переставала подниматься по эллиптике. — Он вынул часы и продолжал: — ФАКТИЧЕСКИ, сейчас четыре двадцать. Заметим это. Но ИСКУССТВЕННО, то есть судя по солнцу миража, сейчас около десяти утра. И еще — весна.

Я признался, что такое множество аномалий отняло у меня большую часть моих способностей, и поздравил геолога с проявлением отваги. Он возразил, что чувствует только досаду, так как не захватил ни записной книжки, ни карандаша, ни фотоаппарата.

Мы беседовали, но не отрывались от магического видения, воспроизводившего детство Земли. Свободная от туманов зона все расширялась. Предметы, появившиеся первыми, были теперь четкими, материальными, неподвижными; но перспектива еще уходила в вибрирующий трепет, похожий на то, что бывает видно при сильном зное.

Это заставило нас думать о живых существах. Мне хотелось, чтобы предметы вдались задвигались; я полагал, что в случае опасности мы сможем укрыться в утесах на берегу. Но тут я заметил в море усаженный зубцами спинной плавник; он вынырнул, потом погрузился снова.

Мы слушали море не отрываясь. Его запах в сочетании со смолистым ароматом бодрил нашу кровь. И вскоре мы поняли, откуда исходит эта смесь смолы и скипидара. Пальмовая роща попеременно с другими деревьями занимала низменность у красного пляжа; но далее вглубь был откос, более высокий и заросший сосняком. В просветах между пальмами виднелся его мергельно-глинистый срез с темнеющим в нем устьем пещеры.

Понятно, что растения интересовали меня больше, чем все остальное. Они были удивительных размеров. На некоторых, казавшихся нескончаемыми, красовались плотные, мускулистые венчики ярко-фиолетового цвета, с золотистыми пестиками. Другие, неизвестные мне, из семейства магнолиевых щеголяли в восхитительных двухцветных листьях прекраснее цветов. У подножья стволов кишела свирепая, многоликая теснота фантастической теплицы, неразделимая путаница, где изгибались колючие шпательца алоэ, где вздутые ракетки кактусов потрясали пучками щетины или волосяными султанами, где смешные и страшные травы состояли словно из толстых, сросшихся концами гусениц. Это было летаргическое месиво искривленных лап, нагромождение гладких, голых или темных

шерстистых торсов, над которыми сгибались огромные мохнатые посохи древовидных папоротников. Жизнь нападающая и жизнь защищающаяся сверкала в изобилии стручков, в сложном переплетении побегов, в рогах и когтях всех этих парализующих чудовищ, колючих и зубчатых, как юрские драконы, или выкидывающие колосья, состоящие из карибских кинжалов. Все это шевелилось, не трогаясь с места. Неправдоподобный зимний сад, где эвкалипт, евфорбия, мирты и вымершие дриофиллы, доли-остробы, кампистры, лепидодендроны перемежались с ольхой и осинкой, с буками и каштанами! В полумраке подлеска торчали голубоватые, неопределенные пирамиды, полупапоротники - полулиственницы, не то травы, не то деревья.

По щекам у нас струился пот. Воздух оставался мутным; к темной синеве неба примешивался неумовимый черный оттенок; и я заметил, что, вероятно, атмосфера не очистится более и что именно такой она была в эту жаркую влажную эпоху. Луна, заканчивавшая свой срок, рисовалась в виде тонкого, прозрачного серпа. Несмотря на сияющий дневной час, в зените стояла большая круглая звезда. Мы заметили ее оба сразу... Ах, нам не нужно было обмениваться впечатлениями! Невыразимая нежность взволновала нам сердца, и я думал, что мы разрыдаемся, увидев эту звезду, ЭТОТ ВТОРОЙ, БЕЗВОЗВРАТНО ИСЧЕЗНУВШИЙ СПУТНИК НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ, — ВТОРУЮ МАЛЕНЬКУЮ ЛУНУ НАШЕЙ ЗЕМЛИ!

Мы никак не могли ото-

рвать взгляд от зенита. Когда же мы отвели его, то чудо завершилось. Последний клочок тумана таял вдаль, как дыма от дыхания. Море, кудрявое от волн, тянулось далеко к востоку, и закругленный берег вставал из него, как ранее вставал перед нами из тумана. Это была бухта между двумя мысами; мы были в одном из мысов, а другой виднелся впереди. Это была длинная красноватая коса, поросшая мастиковыми деревьями и секвойями; чем ближе к суше, тем их становилось больше, так что задний план был весь полон этой зелени, которая к концу нашего мыса снова разреживалась. Посреди подковы над деревьями виднелся гребень обрыва, голый и красноватый на фоне лиловой синевы.

И оттуда тяжело выступили один за другим четыре слона, таких монументальных, что для того, чтобы определить разделявшее нас расстояние, — свыше восьмисот метров по прямой, мне понадобилось вспомнить реальные пропорции этой местности. Как бы то ни было, мы, не сговариваясь, очутились под прикрытием утесов и даже не успели понять, что делаем.

— Будем наблюдать, — сказал геолог.

— Будем наблюдать.

И вот титанические животные идут гуськом, выделяясь силуэтами на обрыве. Они кажутся темными пятнами. Их бивни нам видны плохо; близорукий Флери-Мор насчитал их по четыре у каждого, я же думаю, что их по два и что они изогнутые. Он думает, что животные мохнаты, я — что они голые. Словом, не в силах сделать выбор между слонами Меридио-

налис, Антиквус или Примигениус, мы не можем решить, в какой из периодов кайнозойской эры мы перенесены миражем. Не эоцен; еще менее — плиоцен: об этом говорят море и растительность. Но олигоцен ли это или миоцен? Однако наш спор был решен еще одним эпизодом.

Головной мамонт дает сигнал остановиться. Он широко раскидывает свои гигантские уши, словно его череп хочет улететь; он издает хаотические трубные звуки и галопом удирает за холм. Его товарищи выполнили то же неуклюжее «налево кругом» и исчезли. Земля глухо сотрясается. И вот на севере появляется какая-то темная гора и движется по лесу, превосходя высотой самые высокие деревья. И мы видим, это это исполинский тапир, толстокожее с коротким хоботом и загнутыми вниз бивнями, и что он идет в грандиозном лесу, как обыкновенный тапир идет в траве.

— Динотерий? — прошептал я совсем тихо.

— Да, динотерий: это миоцен!

Флери-Мор произнес слово «миоцен» с непередаваемым выражением. Я смотрел на него; я знал, что он ощущает безграничную гордость, сумев вот так, в один миг, определить точку во времени, за мириады веков от нас.

Что до меня, то динотерий меня ошеломил. Похожий на сухопутного кита, он был «не по масштабу» со своим окружением. Он казался не на своем месте: он был создан для гораздо более обширных декораций или для колоссального океана. Чувствовалось, что на Земле он больше не у

себя дома и что ему остается только уйти.

Нам повезло, — мы могли вволю насмотреться на него. Он поднял обрубок своего хобота в направлении бегства слонов, поколебался, сделал полуоборот и, как разрушительная буря, перенесся на самый конец северного мыса. Там он тяжело растянулся и принялся рыться в земле.

Еще через несколько секунд мы увидели над морем стаю больших птиц — или больших летучих мышей, — которые неслись от берега, по временам снижаясь к воде и даже прикасаясь к ней, чтобы поймать рыб. Мы сосчитали их: двенадцать птиц летели замечательно легко и красиво. И вдруг, испустив тот сверхъестественный вопль, который испугал нас, они, как крылатые стрелы, кинулись на динотерия.

Исполин вскочил. Большие птицы напали на него со всех сторон, как крикливый вихрь. Стая носилась вокруг, неотвязно и злобно. Потом один за другим нападающие опустились ему на спину, сбившись в копошащийся, похожий на гидру клубок. Животное заматалось — четвероногий замок, опрокинутый четырехбашенный собор, — повернулось и с ревом умчалось в оглушительной буре. Его протесты были похожи на ярость взбесившегося парохода, а его мучители, снова взвившись в воздух, провожали беглеца гиканьем. Мы долго следили за ними взглядами, заслоняя рукою глаза от солнца.

— Я отдал им пять лет жизни за бинокль, — сказал мой спутник. — Невозможно смотреть... Ах, если бы только я знал! Чего бы я не захватил с собой, Шантерен!

А у меня только часы, вот и все!.. Что это за летучие твари? Вот грязные скоты! А голова у них!..

— Конечно! Но я не знаю... Птеродактили?

— Нет. И все же... О нет, нет! Крылатых ящеров в эту эпоху уже не было, ручаюсь головой... У, противные твари! — повторил он, вытирая потное лицо. — Какой гадкий крик! Я не помню ничего отвратительнее... не считая одного впечатления в детстве...

— Какого же?

— О, пустяки. Я хотел сказать — первой обезьяны, какую я видел. Эта пародия... Так вот, крик этой птицы...

— Вы правы, — сказал я, пораженный верностью этого сравнения. — Но лучше говорить потише. Мы не знаем, что скрывается вокруг.

Синяя тень рощи сохраняла свою таинственную враждебность. Листва деревьев вздрагивала, колеблемая невидимыми птицами. В сквозной тени висели судорожные рои мух. Чаща явно пробуждалась, встревоженная чьими-то тайными передвижениями. Стебли трав гнулись полосами и замирали с пугающей внезапностью, заставляя думать о том, что нас увидело какое-нибудь животное или чудовище.

— Нужно обогнуть эту скалу, — сказал я, — чтобы она была между нами и сушей. Океан кажется более безопасным.

— Как вам угодно, — ответил Флери-Мор, выполняя этот маневр. — Но я все время ожидаю, что этот мираж вдруг исчезнет. Наблюдайте, хорошо?

— Здесь нам будет не очень удобно, — заметил я.

Действительно, море лизало здесь подошву утеса.



Рисунки А. ГУСЕВА

— Все равно, останемся тут, — ответил Флери-Мор, стоя одной ногой в воде. — Главное — не делать лишних движений, чтобы не выдать своего присутствия. Впрочем,

передвигаться в мираже вообще опасно, так как мнимая местность маскирует ловушки действительной. Не забывайте этого, Шантерен, и, что бы ни случилось, не бегите. Мест-

ность, которую мы ВИДИМ, попросту НАЛОЖЕНА на ту, где мы НАХОДИМСЯ. В видимой пустоте этой допотопной поляны вы можете налететь на плотный ствол теперешнего дерева. Это, кажется, единственная опасность, какая нам угрожает. Потому что... Ну да! — вскричал он, хлопнув себя по лбу. — Каким бы полным мираж ни был, он всегда мнимый! Это отражение, иллюзия! Следовательно, друг мой, — боже, как мы были наивны! — следовательно, изображение слонов, издохших несколько сот тысяч лет назад, не могло бы причинить нам никакого вреда. Оно остается в своем времени, как мы остаемся в своем.

Его уверенность передалась и мне.

— И потом, — сказал я, — вот что хорошо: существа прошлого, которых мы видим, не могут видеть нас, потому что мираж не может быть двусторонним. Африканские миражи никогда не бывают двусторонними.

— Разумеется, — подтвердил геолог. — Можно получить от прошлого непосредственное впечатление: небовод со своими более или менее удаленными звездами дает нам каждую ночь столько изображений прошлого, сколько есть на нем звезд. Но непосредственного впечатления БУДУЩЕГО получить нельзя. Значит, если бы мы, скажем, вскочили и закричали, динозавры ничего не увидели бы и не услышали.

Мы вышли из-за своего скалистого укрытия, вернув себе всю свою беспечность. От наших башмаков оставались на влажном песке отпечатки. Современные башмаки... доисторический песок...

Флери-Мор некоторое время смотрел на волны, скрестив руки на груди, потом заговорил:

— Вы не знаете, какое волнение испытываю я перед лицом этого юного моря, этого моря первых времен мира, близких еще к той первобытной эпохе, когда вся Земля была единым морем!.. Отсюда вышла вся жизнь. Все, что дышит и движется, вышло из недр этого океана, который и сам словно дышит и движется, как несчетное множество живых существ... Вот первоначальное море, и вот оно близ своего первого начала! Вот колыбель всего живого, вот море — мать человека, где уже есть вкус слез, вкус крови и звук рыданий!

Нам выпало несказанное счастье видеть его в дни его юности. В этот час, возродившийся для нас, оно только что окончило свое великое дело. Оно выслало на узкие еще материк все создания, порожденные его лоном. Эпоха ящеров давно миновала. Они изменились, превратились в птиц и млекопитающих. Гигантские драконы не вернутся больше. Теперь должен появиться некто другой. Теперь в недрах обезьяньего племени смутно зарождается человек, и в мозгу какого-нибудь шимпанзе начинает свой путь Вергилий...

Наступило краткое молчание, полное шума прибоя.

Я осмелился заговорить:

— Ну уж если путешествовать во времени, то я предпочел бы идти дальше, в эру, предшествующую этой. Прекрасное зрелище — динозавры, Флери-Мор! Быть может, самое удивительное на всей Земле, во все ее времена!

— Ну! — возразил Фле-

ри-Мор. — Все ваши диплодоки, мегатерии и прочие игуанодоны были морским населением. Они жили в воде почти всегда, а не так, как нам показывают книги и музеи. Не жалуйтесь: разве динозавров, которого мы видели, не кажется запоздалым осколком гигантской фауны?

— Это не ящер, — сказал я с сожалением.

— А я, — продолжал он, все время переводя взгляд с моря на пальмовую рощу и с берега на сосняк, — если бы я мог выбирать, я бы остановился на менее отдаленной эпохе, на том геологическом времени, когда в животном окончательно проявился наконец человек. Ах, увидеть первых людей! Адама и Еву неоспоримой геологической Книги бытия!..

— Вот и птицы возвратились, — заметил я. — Они ловят рыбу вдаль. Оперение у них кажется белым, или же так влияют расстояние и солнце... Это огромные чайки.

— Мне бы так хотелось узнать, что это такое, — пробормотал Флери-Мор. — Но нужно отказаться. Не будем терять драгоценного времени и попробуем, по крайней мере, разглядеть то, что есть поблизости. Вон там я вижу чудовищные группы; они меня интригуют. Попробуем подойти к лесу.

Он сделал несколько шагов, нащупывая почву ногой и вытянув руки, словно ослепнув: все это потому, что он боялся реальных препятствий, скрытых миражем.

— Эй! — вскрикнул он; резко остановившись, он повернулся ко мне и, прикрыв рот рукой, прошептал нерешительно и восхищенно: — Пещера! Смотрите...

Я молча сделал ему знак вернуться и ощутил вдруг неслышимое отчаяние при мысли, что мы, быть может, навсегда останемся на этой Земле, где людей еще не было. Во мраке пещеры зажглись огоньки. Это были маленькие яркие точки, расположенные попарно, красно-зеленые и зелено-красные, неоспоримые, неоспоримо знакомые, — глаза!

— Я иду туда! — заявил Флери-Мор.

— Нет! — И я кинулся к нему.

— А вдруг мираж рассеется? — убеждал он меня. — Разве вы не будете вечно раскаиваться в том, что упустили случай? Воспользуемся им, друг мой! Воспользуемся этим благодетельным миражем!

— Но разве вы не видите, что эти глаза СМОТРЯТ НА ВАС?

— Э, вы с ума сошли! Смотрят в будущее?

Но я держал его крепко, ибо сам был под властью чего-то повелительного, сильнее здравого смысла. Он должен был уступить мне и ограничиться обследованием на расстоянии.

Глаза сверкали, как парные звезды, и иногда мигали, закрываясь пугающими в своей незримости веками. Моя фантазия пририсовывала к ним целое семейство наводящих ужас медведей, ростом с бегемота.

— Вы ничего не замечаете? — вдруг спросил я.

— Что такое?

— Вы не замечаете?.. Луч солнца...

— Какой луч?

— Тот, что проникает в пещеру, — вот эта косая полоса света...

— Ну?

— Так вот, пара глаз, ближайшая ко входу... не находится ли она ВЫШЕ полосы света?

— Да, это верно.

— Значит, если бы это были глаза животного, стоящего на земле, мы бы увидели его в луче...

— Bravo! По всей видимости, эти глаза принадлежат животному, висящему со свода... если только оно не парит прямо в воздухе.

В глубине пещеры, неустанно пронзая мрак, парные звезды глаз все умножались и умножались...

Мы стояли очень открыто, и я не мог не следить за окружающим, несмотря на бессмысленность этого занятия. Пальмовая роца, разделенная надвое поляной красного песка, бросала тень своих стволов справа и слева от пещеры. Я не мог удержаться от дрожи ужаса: эта тень тоже была усеяна красно-золотыми огоньками! На каждой из исполинских груш блестело по паре огоньков. Их были сотни. И лес, как Аргус, смотрел на нас всеми своими неподвижными зрачками.

Мысль о том, что грушевые деревья — не растения, проползла у меня в мозгу, как мохнатый паук.

Но Флери-Мор заговорил разумно.

— Ваши груши, — сказал он, — это попросту летучие мыши; это вампиры-гиганты, висящие с ветвей вниз головой, как обычно. С потолка пещеры — тоже. Но они должны быть дневными, потому что ваши так называемые чайки — это тоже вампиры, за это я ручаюсь. Те, что окружают вас, вероятно, спят.

— Просыпаются, вы хотите сказать!

Я предпочел бы не поправлять его. Мне до тошноты отвратительна даже обыкновенная летучая мышь; судите же, какое впечатление мог произвести на меня целый город этих вампиров, еще более чудовищных благодаря своим размерам.

Я смотрел на пещеру, на пальмовую роцу, на повисших, грушеобразных летучих мышей. Флери-Мор — на море и на тех вампиров, что летели вдаль.

Так прошла минута, и ничто не двигалось.

Невероятное, парадоксальное безумие: эта неподвижность, удлинняющая бесконечно тревогу ожидания, толкала к действию меня, более робкого из двоих. Я порывисто подобрал несколько камешков.

— Можно? — спросил я, нацеливаясь на темное устье.

Флери-Мор рассеянно кивнул.

Первый камень не попал в цель и, ударившись о стену, упал на груды рыбьих костей у входа. Второй полетел прямо в глубь пещеры.

Тотчас же в ее недрах поднялся ужасающий гвалт, от которого волосы у меня встали дыбом, и пещера наполнилась сатанинскими завываниями, словно ход, ведущий прямо в преисподнюю. Мрак внутри усеялся пылающими угольками. И мы увидели наконец, что в недрах тьмы что-то задвигалось, вырисовываясь все яснее с каждым шагом, и направилось к выходу посреди горящих глаз.

— Человек! — прошептал я.

— Обезьяна! — шепнул Флери-Мор.

Он был и тем, и другим, и

ни тем, ни другим; прямо-стоящий, двуногий, страшно худой, с жалким, маленьким, круглыми черепом, с курносим носом, выдавшейся челюстью, с ушами, как капустные листья, и весь в шерсти! Сомнений не было: перед нами стоял питекантроп — предок-человек! Питекантроп, такой, каким реконструировал его Дюбуа по яванским костям... Плиоценовый питекантроп здесь, в миоцене, в Европе, в Шампани... живой! Да еще, по какой-то чудовищной странности, он был союзником вампиров и делил с ними пещеру!..

— Ба! — сказал я себе, чтобы успокоиться, — он использует их как рабов или как охотничьих собак, вернее, как рыболовных собак!

Обезьяночеловек остановился на пороге пещеры и раскрыл свои близко поставленные глаза, до сих пор полузакрытые.

На свету стало видно то, что в нем было самого поразительного. И попробуйте только угадать — что! Слушайте: этот дикарь из дикарей, который должен был бы быть совсем голым, оказался закутанным в широкий кожаный плащ, тонкий, темный, блестящий, с симметрично падающими до самых пят складками!

— Плащ! — изумлялся геолог. — Уже цивилизован! Оранг, уже умеющий одеваться!.. К чертям эту одежду! Она мешает нам увидеть его внешнюю анатомию...

Питекантроп сморщился по обезьяньи, потом повернул голову, как человек. Гам в пещере утих.

— Он смотрит на нас, говорю вам!

— Похоже на то, — согласился Флери-Мор. — Но если он на нас смотрит, то может и услышать нас? Полноте, это невозможно! — Он странно улыбнулся и крикнул человеку-животному: — Эй, дедушка! — И засмеялся, конечно, чтобы рассмешить меня. Но мне смеяться не хотелось, да и времени на это не было.

Наш предок протянул свою длинную руку, приоткрыв полку кожаного плаща. Его рот, разинувшись, превратился в клыкастую пасть. Оттуда вылетел визгливый, лающий голос, толчки которого сотрясали его тощую грудь; что-то вроде: «Аттуи, туи, туи! Хира-ха! Рато! Рато!»

По этому зову, вернее — по этому приказу, стая антропоедов вырвалась из пещеры, с каждой стороны пальмовой рощи ринулась на поляну толпа наших предков, а гребень откоса покрылся теми, что выскочили из сосняка. Аммиачный запах обезьянника стеснил нам дыхание. Тишина наполнилась отвратительным гиканьем. Враждебная толпа замкнула нас в плотное кольцо. Все, как их начальник, были облачены в более или менее темные плащи, складками которых они яростно потрясали.

Я обернулся к утесам на берегу моря... Над волнами стремглав неслась стая этих гигантских чаек, или огромных летучих мышей... Сейчас мы узнаем, кто летит на подмогу вампирам, альбатросы или другие вампиры...

— Крылатые люди! — вскричал Флери-Мор.

Да, это были крылатые люди! И темно-бурый плащ, этот мундир окруживших нас приматов, что это было? Вы уга-

дали: это были широкие свернутые крылья. Груша, птица, летучая мышь, питекантроп — все это было одним и тем же существом: нашим праотцем — Адамом, царившим на земле, как и в небесах.

Теперь отовсюду мы были окружены. Взлетев, они создали над нами купол из хлопающих крыльев. Они взяли нас под колпак, и этот живой колпак затмевал солнце. Бегство было невысказано.

Инстинкт прижал нас спиной к спине. Таким образом, двое в одном, зоркий двуликий Янус, мы могли преодолеть жалкую слепоту нашего тела. Я нервно сжимал ружье в судорожной руке.

— Вы видите, это мираж двусторонний, — с трудом выдавил я из себя. — Мы видим их, а они — нас.

Я почувствовал, как он пожимает плечами.

— Призраки, призраки! — пробормотал он. — Понимаете? Восхитительная иллюзия. Постараемся запомнить все, что можем. Ха-ха-ха! Так человек в конце концов потерял свои крылья! Потерял потому, что не пользовался ими! Эволюция покарала его за лень, как пингвина! Ха-ха-ха! Постараемся же запомнить, что только можно!

— Хорошо, согласен. Вы все время твердите одно и то же.

Крылатые люди довольствовались пока что тем, что держали нас под наблюдением. На нас были устремлены все взгляды, и это не могло не вселить в меня робости. Кроме того, непрерывный гам, крики, хлопанье крыльев, — от всего этого голова начинала кружиться. Я старался победить чисто физическую слабость; все мои силы уходили

на борьбу с самим собой, и я страстно ожидал конца всех этих чудес. Флери-Мор, напротив, думал о мираже вслух. Чтобы лучше запомнить виденное, несравненный наблюдатель делал устные заметки. Я слышал, как он бормочет:

— Лицо негроидное. Никакой цивилизации. Огня нет. Зачатки языка. Вожак — самый сильный, а не самый старший. Как у животных, полное равенство самцов и самок. Никакого оружия. Крылья... ах, несравненные крылья, которыми соединяются руки и ноги!.. Ха-ха!.. Вот они, промежуточные существа, занимающие середину между летучей мышью и летучей белкой! Но они не насекомоядные и не грызуны. Рыбоеды, да, пожиратели рыбы. Словом, они происходят от птеродактилей; да и вся наземная фауна произошла от ящеров. Вы тоже так думаете, не правда ли, Шантерен?

— Все вертится, словно у меня морская болезнь! — отвечал я. — Что нужно сделать? Я хочу что-нибудь предпринять...

Мой арьергард недовольно заворчал:

— Глупо... Безобидное представление... Живые картины... Галерея... портреты предков...

Потом он начал проклинать отсутствие всяких инструментов.

— Используйте хотя бы хронометр, — посоветовал я. — Засеките время. Который час?

— Пять минут шестого.

— Спрячьте их! — вскричал я. — Они блестят, раздражают! Спрячьте часы, они сыграют с вами глупую шутку. Спрячьте скорее!

Что-то темное, тяжелое обрушилось на нас. Я отлетел

в сторону. Когтистая, мохнатая лапа схватила руку с блестящими часами. На земле, подмяв под себя упавшего Флери-Мора, барахтался, сверкая крыльями, питекантроп, отвратительный, как дьявол. Подбрасываемый толчками, зверь подставлял мне свой плоский затылок. Я вскинул ружье, выстрелил.

На этот раз выстрел грянул, как гром. Густой дым окружил меня, закрыв вдруг первобытное солнце. За ним последовали холод и молчание...

Дым не рассеивался.

Он и не мог рассеяться, ибо это был вновь появившийся туман. Вспышка моего пороха сотрясла его и погасила удивительное видение. Мы снова были в XX веке.

Немедленно и словно вследствие того же сотрясения дым превратился в изморось. Меня обдало мелким, ледящим дождем.

Настал вечер в вечере. В полумраке, где ночь сливалась с туманом, я увидел у своих ног ноги Флери-Мора, лежащего на земле ничком.

Он очнулся и застонал:

— Меня убили! Меня убили!..

И действительно, он словно жаловался по ту сторону смерти. Руки у него были как у мертвеца, и я напрасно растирал их. Он был ошеломлен ужасом; лицо у него было как маска, а глаза — такие, какими должны быть глаза спящего под сомкнутыми веками.

Я показал ему в сумерках тень орешника. Это знакомое зрелище успокоило его. Он сказал, что видит достаточно хорошо, чтобы вернуться, и хочет сделать это как можно скорее.

Я быстро связал крестик из веточек и воткнул его в землю. Флери торопил меня уйти.

Метрах в двадцати отсюда мы нашли тропинку. Еще один крестик. Новое нетерпение Флери-Мора.

Еще дальше нам встретились каменотесы, возвращавшиеся в Норуа Ле-Кормонвилль. На мои вопросы они ответили, что не видели ничего, кроме тумана, и не слышали ничего, кроме выстрела.

— Странный феномен ограничивался очень малым радиусом, — заметил я, когда они ушли. — Это очень удачно. Иначе сколько селений было бы затоплено!

Я хотел засмеяться, — напрасно...

Флери-Мор спускался с холма во всю прыть, но с необъяснимыми поворотами и внезапными остановками, встревоженный черными молниями летучих мышей, испуганный зеленым туманом спаржевых посадок, которые можно было бы пересечь для скорости. Сова, пролетевшая беззвучно, как тень, заставила его съежиться в страхе.

Я кое-как следовал за ним. Мы вернулись в замок.

Было условлено, что мы сохраним случившееся с нами приключение в тайне. Не было ничего легче. Вечером мой друг ослабел еще больше. Руки у него оставались мертвенными, лицо окаменело. Его уложили. Я дежурил над ним вместе с его женой.

Утром лихорадка уменьшилась. Доктор прописал покой, сон и молчание. Перед тем как начать лечение, Флери-Мор захотел поговорить со мною наедине.

Он хотел, чтобы я вернулся на место миража, чтобы определил положение пещеры:



«Ее нужно найти во что бы то ни стало. Там должны найтись бесценные окаменелости». Он горячо поблагодарил меня за поставленные мною вежи и заклинал беречь их, чтобы ни ветер, ни какой-нибудь прохожий не свалили их.

Я отправился туда с землекопами, захватившими свои орудия.

Крестики оказались нетронутыми. Первый из них указывал на второй, а второй — на пещеру. Мое зрение сохранило картину расстояний: между местом, где упал Флери-Мор, и входом в пещеру

было метров тридцать. Но протекившие века сдвинули край обрыва метров на двадцать, и нам пришлось бы рыть ход такой длины, если бы двумя метрами левее и в нужном направлении не был уже устроен карьер. Я отсчитал по его фронту двадцать метров; землекопы начали рыть и почти тотчас же наткнулись на глину.

Часа в три пополудни я остановил работы. Пещеры не было. Я думаю, она обрушилась вследствие геологических нарушений. Но, тщательно разыскивая, мы обнаружили в



мергелистой массе конгломераты красной земли, перемешанной с костями.

Я тут же выделил части скелета. На всех костях рук и ног виднелись какие-то наросты; они не были ни механическими повреждениями, ни следами артрита, а попросту природными выступами, к которым прикреплялись сухожилия перепончатых крыльев. (Эти части, надлежащим образом собранные, образуют почти полный составной скелет; любители могут видеть его в музее под названием *Pteropithecantropus erectus*, и это название считается фантастическим. Его называют также антропотерикс, или, чаще всего, кормонвилльским летучим человеком.)

Как я и предвидел, раскопки не обнаружили ни керамики, даже грубой, ни кремней, даже необработанных; ни слоновой кости, готовой палицы; ни рога нарвала, могущего служить копьём. Поэтому велико было мое изумление при виде извлеченной из земли затылочной кости черепа с круглым отверстием в ней.

Я размышлял над этим обломком черепа усерднее, чем Гамлет над черепом Йорика. Это загадочное нечто, этот пустой кружок не давал мне покоя. Мне пришлось в голову измерить его. Диаметр у него оказался такой же, как у пуля моего ружья 12-го калибра!

Не успел я опомниться от догадки, которой озарило меня это простое численное соотношение, когда один из рабочих принес мне только что выкопанную добычу: правую руку, плотно впаянную в глыбу глины, охватившей ее легкие, хрупкие, белые кости. Ее решетчатый кулак сжи-

мался на каком-то предмете, который я решил высвободить.

Вот уже миллионы лет, как эта рука была погребена в недрах горы. И все-таки она держала ЗОЛОТОЙ ХРОНОМЕТР.

Никогда еще я не видел столь жалкой реликвии. Останки циферблата были усеяны крошками стекла, радужными от невообразимой древности. Шарниры срослись. Я открыл часы ножом, как устрицу. От стального механизма осталась лишь ржавая пыль с искорками рубинов. Но нетленное золото устояло перед натиском времени. На потускневшем корпусе виднелось имя продавца: «Самуэль Гольдшмидт, авеню Оперы, 129, Париж». А покрывшиеся минеральной коркой стрелки показывали — через целую вечность ПЯТЬ МИНУТ ШЕСТОГО.

Не решаюсь рассказать, какой хаос царил у меня в мыслях.

Через полчаса, захватив часы и затылочную кость, я нарушил запрет и силой проник в комнату Флери-Мора. Он сидел на постели, сложив руки.

Его прием разочаровал меня. Мое сообщение его ничуть не заинтересовало; рассеянно потрогал обе редкости, он сказал громко и решительно:

— Шантерен!

— Ну?

— Не нужно говорить этого людям.

— Чего, друг мой?

— Что люди когда-то были крылатыми...

— Как!

— Это будет слишком грустно для них, знаете ли... Не нужно ничего говорить...

Я много размышлял после того, как вы ушли.

Да, Шантерен, оказывается, наше желание бороздить небеса, наше неумирающее стремление летать — это не надежда, не порыв к лучшему, بلکه прекрасному! Это лишь смутное сожаление... сожаление об утраченных крыльях... о потерянном рае... Не об этом ли говорит нам библия под символом изгнания Адама и Евы? Может быть. Вероятно. Ах поверьте мне: все мифы древности основаны на какой-нибудь доисторической реальности! Каждый герой поочередно изображает в них человечество. Прометей — разве это не завоевание огня? Падение Икара — разве это не потеря крыльев?.. В злых или в добрых чувствах плоти сама собой передается какая-то первобытная, глухая и цепкая традиция. Когда мы хотим летать, мы, сами того не зная, оплакиваем свои потерянные крылья; а когда мы испытываем тоску по морю, нас волнует нежность изгнанника к запретной родине... Нет, нет, не нужно говорить людям, что они падшие ангелы. Это было бы слишком грустно!

— Как! — вскипел я, пораженный и возмущенный. — Вы посмеете промолчать? Но наше открытие не принадлежит нам; оно принадлежит всему человечеству! И я не понимаю, что может быть грустного в том, если оно узнает: «Некогда люди летали, но душа у них ползала!» Сознай-тесь, что от перемены мы только выиграли.

— Не нужно говорить.

— А истина? — вскричал я. — Истина! Разве ее не нужно открывать наперекор всему и всем? Разве не нуж-

но всем пожертвовать ради нее? Разве не она окрыляет душу и возносит ее выше серафимов в небесах?

— И все-таки говорить не нужно, — повторил Флери-Мор.

В смысле права честь этого открытия принадлежала нам обоим поровну. Ни один не мог распоряжаться своей долей без согласия другого. Итак, я покорился.

Вот почему прошло столько дней, прежде чем антроптерикс появился в музее.

Он обязан этой милостью изобретению самолета. На следующий же день после решающего испытания Флери-Мор разрешил мне открыть тайну.

— Хотя эти летательные аппараты — словно ортопедические снаряды и в сравнении с крыльями они то же, что костыль в сравнении с ногой, — сказал он, — но мне кажется, что мы можем теперь говорить, ибо Адаму возвращен рай, и Дедал снова поднимается в небо.

Мы сказали. Кто нам поверил? Никто. Почему же?

Потому что скелет в музее — это скелет, и только. Крылья антроптерикса были похожи не столько на крылья летучей мыши, сколько на перепонки летучих белок; основой у них были только мышцы, которые исчезли.

И нет других доказательств, кроме нашей памяти, что он был на самом деле — мираж, посетивший нас в туманный день 26 октября и подаривший видение тех времен, когда люди летали.

Перевод с французского

З. БОБЫРЬ

На 1-й и 4-й стр. обложки — рисунки Г. НОВО-ЖИЛОВА

На 2-й стр. обложки — рисунок А. ИТКИНА к роману Аркадия и Георгия Вайнеров «Визит к Минотавру»

На 3-й стр. обложки — рисунок В. КОЛТУНОВА к рассказу Ричарда Геймена «Машина».

Редакционная коллегия: А. Г. АДАМОВ, А. П. ДНЕПРОВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, А. В. НИКОНОВ, А. А. НОДИЯ, Н. В. ТОМАН, В. М. ЧИЧКОВ

**Редакторы выпуска: О. СОКОЛОВ, В. МАЛОВ
Художественный редактор Т. ПРОКУДИНА
Технический редактор А. БУГРОВА**

**Рукописи не возвращаются.
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес редакции: Москва, А-30, Суцеская, 21. Тел. 251-15-00, доб. 4-10.**

**Сдано в набор 23/XI 1971 г. Подп. к печ. 10/I 1972 г. А01110.
Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 5 (усл. 8,4). Уч.-изд. л. 10,5.
Тираж 150 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 2559.**

**Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»,
Москва, А-30, Суцеская, 21.**



Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР — Визит к Минотавру
Ричард ГЕЙМЕН — Машина
Морис РЕНАР — Туманный день

Цена 20 коп.

